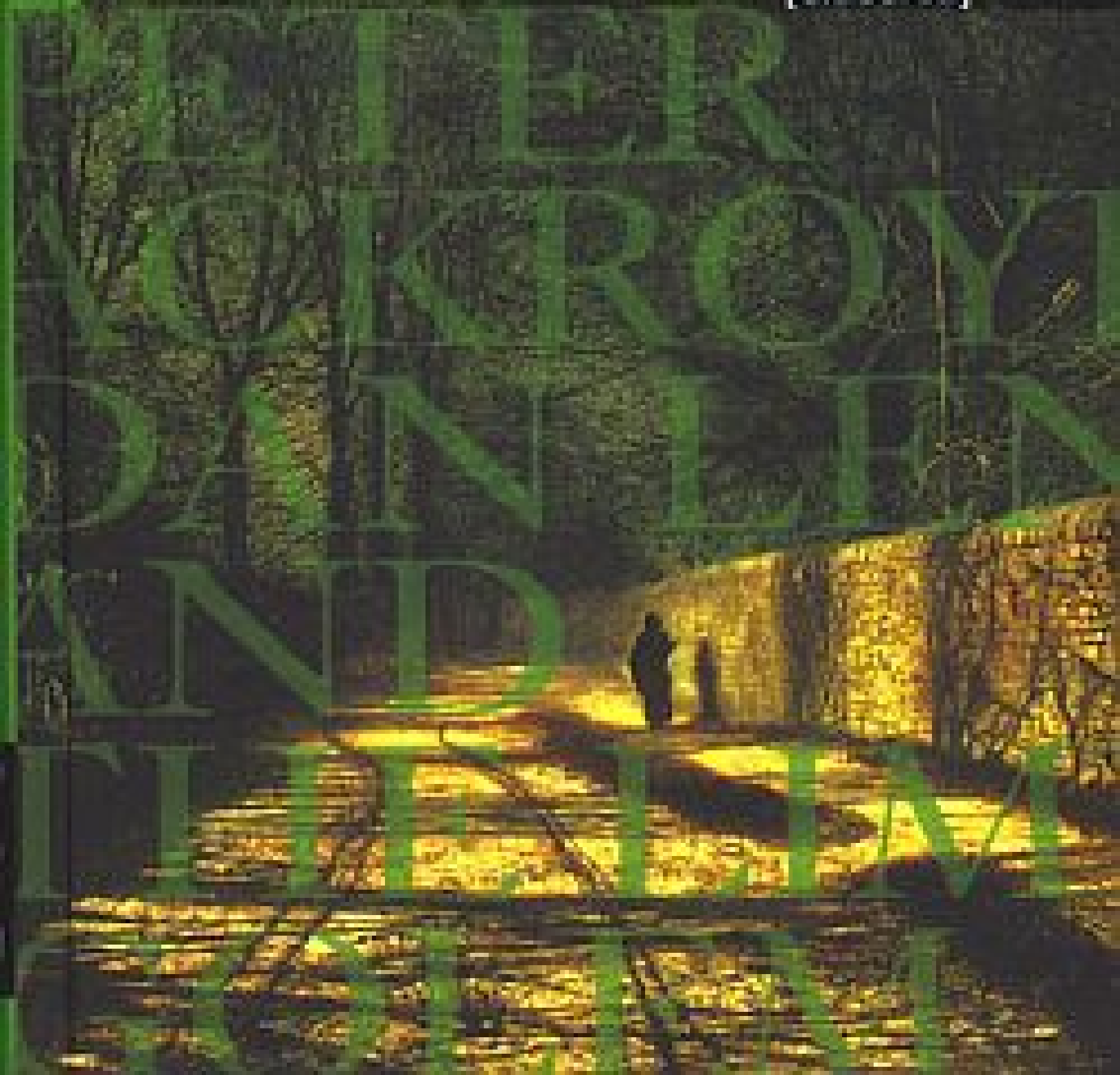


Питер Акройд  
Процесс Элизабет Кри

[classica]

Corvus



## Annotation

80-е годы XIX века. Лондонское предместье потрясено серией изощренных убийств, совершенных преступником по прозвищу «Голем из Лаймхауса». В дело замешаны актриса мюзик-холла Элизабет Кри и ее муж — журналист, фиксирующий в своем дневнике кровавые подробности произошедшего... Триллер Питера Акройда, одного из самых популярных английских писателей и автора знаменитой книги «Лондон. Биография», воспроизводит зловещую и чарующую атмосферу викторианской Англии. Туман «как гороховый суп», тусклый свет газовых фонарей, кричащий разврат борделей и чопорная благопристойность богатых районов — все это у Акройда показано настолько рельефно, что читатель может почувствовать себя очевидцем, а то и участником описываемых событий. А реальные исторические персонажи — Карл Маркс, Оскар Уайлд, Чарльз Диккенс, мелькающие на страницах романа, придают захватывающему сюжету почти документальную точность и достоверность.

---

- [Питер Акройд](#)
  - [Глава 1](#)
  - [Глава 2](#)
  - [Глава 3](#)
  - [Глава 4](#)
  - [Глава 5](#)
  - [Глава 6](#)
  - [Глава 7](#)
  - [Глава 8](#)
  - [Глава 9](#)
  - [Глава 10](#)
  - [Глава 11](#)
  - [Глава 12](#)
  - [Глава 13](#)
  - [Глава 14](#)
  - [Глава 15](#)

- [Глава 16](#)
- [Глава 17](#)
- [Глава 18](#)
- [Глава 19](#)
- [Глава 20](#)
- [Глава 21](#)
- [Глава 22](#)
- [Глава 23](#)
- [Глава 24](#)
- [Глава 25](#)
- [Глава 26](#)
- [Глава 27](#)
- [Глава 28](#)
- [Глава 29](#)
- [Глава 30](#)
- [Глава 31](#)
- [Глава 32](#)
- [Глава 33](#)
- [Глава 34](#)
- [Глава 35](#)
- [Глава 36](#)
- [Глава 37](#)
- [Глава 38](#)
- [Глава 39](#)
- [Глава 40](#)
- [Глава 41](#)
- [Глава 42](#)
- [Глава 43](#)
- [Глава 44](#)
- [Глава 45](#)
- [Глава 46](#)
- [Глава 47](#)
- [Глава 48](#)
- [Глава 49](#)
- [Глава 50](#)
- [Глава 51](#)
- [notes](#)

- [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
  - [18](#)
  - [19](#)
  - [20](#)
  - [21](#)
  - [22](#)
  - [23](#)
  - [24](#)
  - [25](#)
  - [26](#)
  - [27](#)
  - [28](#)
  - [29](#)
  - [30](#)
  - [31](#)
-

**Питер Акرويد**

**Процесс Элизабет Кри**

**Роман об убийствах в Лаймхаусе**

# Глава 1

Шестого апреля 1881 года во дворе Камберуэллской тюрьмы в Лондоне была повешена женщина. Казнь, как повелось, назначили на восемь часов утра, и сразу после рассвета другие заключенные подняли ритуальный вой. Под погребальный звон колокола на башне тюремной церкви приговоренную вывели из камеры смертников, и она пересекла двор в составе маленькой процессии — помимо нее, еще начальник тюрьмы, капеллан, тюремный врач, католический священник, принявший накануне вечером ее исповедь, адвокат и двое свидетелей, привлеченных органами правопорядка. Палач ждал их в деревянном строении в дальнем конце двора, где была сооружена виселица, — а ведь совсем немного лет назад эта женщина могла быть повешена у стен Ньюгейтской тюрьмы, к восторгу собравшейся за ночь огромной толпы; но возможность сыграть в столь эффектный спектакль была у нее отнята прогрессивным законодательством 1868 года. Так что ей предстояло умереть частным порядком, средневикториански, в деревянном строении, где еще не выветрился запах плотницкого пота. Из атрибутов мрачной символики был сохранен только гроб, с умыслом помещенный в таком месте тюремного двора, что она непременно должна была остановить на нем взгляд по пути к смерти.

Во время чтения отходной было замечено, что женщина чрезвычайно истово ей вторит. Считалось, что эти скорбные минуты приговоренному подобает провести в молчании, но она подняла голову и, вглядываясь сквозь узкую стеклянную крышу в пласты тумана, стала громко молить об упокоении своей души. Когда надлежащий текст произнесли, она взошла на деревянный помост; стоявший сзади палач прикоснулся к ней, собираясь накинуть на нее грубую ткань, но она остановила его, протестуя мотнув головой. Руки ее уже были стянуты за спиной кожаным ремнем, однако движение головы было достаточно красноречиво. Она смотрела сверху вниз на официальных свидетелей, а палач тем временем надевал ей на шею петлю (точно зная ее рост и вес, он заранее тщательно отмерил веревку нужной длины). Прежде чем он потянул за рычаг и деревянная крышка люка ушла у нее из-под ног, она заговорила только раз. «Вот мы и снова тут

как тут!» — сказала она. Падая, она так и не отвела от них взгляда. Ее звали Элизабет Кри. Она прожила тридцать один год с небольшим.

Для перехода в мир иной она была облачена в балахон — длинную белую рубаху до пят. Во времена публичных казней существовал обычай рвать платье преступника на клочки и продавать их собравшейся толпе как сувениры или волшебные талисманы. Но поскольку уже настала эпоха безраздельного господства частной собственности, балахон сняли с трупа повешенной с великим почтением. Позднее в тот же день надзирательница женских камер принесла его в кабинет начальника тюрьмы мистера Стивенса, и тот взял его у нее из рук, не сказав ни слова. О трупе ему не было нужды спрашивать — он уже согласился, чтобы тело передали хирургу полицейского округа Лаймхаус, исследовавшему мозг убийц в поисках отклонений от нормы. Как только надзирательница вышла из кабинета и закрыла за собой дверь, мистер Стивене тщательно сложил белый балахон и спрятал его в кожаный саквояж, стоявший позади его письменного стола. Вечером в своем маленьком доме на Хорнси-райз он бережно вынул его из саквояжа, поднял над головой и надел на себя. Под балахоном на нем ничего не было; вздохнув, он улегся на ковер в одеянии повешенной женщины.

## Глава 2

Кто теперь помнит историю Голема из Лаймхауса или, по крайней мере, заинтересуется историей этого мифического создания? «Голем» — еврейское слово, которым в средние века стали обозначать искусственное существо, сотворенное чародеем-раввином; буквальный его перевод — «неоформленное», и возможно, источником этого понятия были те же страхи, какие в пятнадцатом веке породили представление о гомункулусе, будто бы обретшем жизнь в лабораториях Гамбурга и Москвы. Голем, внушавший панический страх, был, как считалось, вылеплен то ли из красной глины, то ли из сырого песка, и в середине восемнадцатого века его стали отождествлять с демонами и суккубами, алчными до человеческой крови. История о том, как образ голема вновь возник в последней четверти девятнадцатого века, возбуждая такой же неопиcуемый ужас, как и в средневековье, может быть прослежена по лондонским анналам.

Первое убийство произошло десятого сентября 1880 года на Лаймхаус-рич; как подразумевает вторая часть названия, означающая «колени реки», это старинный проулок, который ведет от короткой и невзрачной, но оживленной улицы к лестнице из камня, спускающейся к Темзе. С незапамятных времен возчики и носильщики использовали его как кратчайший, хотя и узкий, проход к бросавшим здесь якорь небольшим судам, однако предпринятые в 1830-е годы работы по усовершенствованию системы доков лишили этот спуск, соседствующий с илистыми берегами, былого значения. Здесь пахло сыростью и старым камнем, но был и другой, диковинный и не столь явственный запах, который один из местных жителей метко определил как запах сопревших ног. Вот здесь-то на рассвете сентябрьского дня и была обнаружена мертвая Джейн Квиг. Она лежала на старой лестнице тремя отдельными частями: голова на верхней ступени, туловище пониже, в страшной пародии на человеческую фигуру, а некоторые из внутренних органов были нанизаны на деревянный шест у самой воды. Джейн была проституткой, промышлявшей в этом районе среди матросов и лодочников, и, хотя ей было немногим больше двадцати, вся округа звала ее не иначе как Старой Перечницей. Разумеется,



общественное мнение, возбужденное мрачными репортажами в «Дейли ньюс» и «Морнинг адвертайзер», приписало содеянное некоему «демону в человеческом облике»; это предположение было подкреплено шесть дней спустя, когда в той же части города произошло новое убийство.

Еврейский квартал Лаймхауса состоял из трех улиц по ту сторону Рэтклиф-хайвей; его жители, как и жители окрестных районов, называли этот квартал Старым Иерусалимом. Там в одном из домов на Скофилд-стрит в меблированных комнатах жил старый книжник по имени Соломон Вейль; две комнаты в верхнем этаже, которые он занимал, были до отказа набиты старыми книгами и хасидскими трактатами, и каждый день, помимо субботы и воскресенья, он с утра отправлялся в читальный зал Британского музея; весь путь он преодолевал пешком, выходя на улицу в восемь утра и добираясь до Грейт-Расселл-стрит к девяти. Утром семнадцатого сентября он, однако, из дому не вышел. Его сосед снизу, служащий Комиссии по санитарии и городскому благоустройству, обеспокоился настолько, что поднялся наверх и легонько постучал в его дверь. Никто не отозвался, и, подумав, что Соломон Вейль, наверно, заболел, сосед решительно вошел в комнату. «Хорошенькое дело!» — воскликнул он, увидев сцену неопишуемого разгрома. Однако мгновение спустя ему стало очевидно, что ничего хорошенького в этом деле нет. Старый ученый был изуродован весьма диковинным образом: отрезанный нос лежал на оловянном блюде, а половой член и яички были помещены на развороте книги, которую Вейль, по-видимому, читал перед свирепым вторжением. Или, быть может, книгу оставил сам убийца как некий ключ к мотивам своих злодеяний? Как не преминули заметить детективы из окружного отделения полиции, отсеченный член украшал собою пространную статью о големе, и несколько часов спустя это слово уже передавалось шепотом по всему Старому Иерусалиму и его окрестностям.

Реальность существования этого зловредного духа была подтверждена обстоятельствами нового убийства, произошедшего в Лаймхаусе через два дня. Элис Стэнтон, еще одна девица легкого поведения, была найдена полулежащей, прислоненной к небольшой белой пирамиде перед церковью Св. Анны. Ее шея была сломана, голова неестественно вывернута, так что погибшая, казалось, смотрела

куда-то за церковь; язык у нее был вырезан и засунут во влагалище, тело изуродовано примерно так же, как тело Джейн Квиг девятью днями раньше. Кровью убитой на пирамиде было выведено слово «голем».

Теперь уже обитатели всего лондонского Ист-Энда были взбудоражены и перепуганы странной вереницей смертей. Ежедневные газеты то и дело сообщали о похождениях Голема, или Голема из Лаймхауса, иные детали приукрашивая, а иные и вовсе изобретая в стремлении изобразить и без того мрачные события как нечто совсем уж чудовищное. Не сам ли репортер «Морнинг адвертайзер», к примеру, выдумал, что Голем, преследуемый «разгневанной толпой», вдруг «растворился» в стене пекарни на Хейли-стрит? Но, возможно, дело вовсе даже не в вольностях газетчиков: ведь сразу после этой публикации несколько жителей Лаймхауса подтвердили, что были в числе преследователей этой твари и наблюдали за ее исчезновением. Старая женщина, жившая на Лаймхаус-рич, клятвенно утверждала, что видела «прозрачного джентльмена», быстро движущегося вдоль речного берега, а один безработный торговец сальными свечами поведал миру на страницах «Газетт», что заметил фигуру, взмывающую в воздух над Лаймхаусским доком. Так родилась легенда о Големе, родилась еще до последнего и самого ужасающего преступления. Через четыре дня после гибели Элис Стэнтон целая семья была убита в своем доме на Рэтклиф-хайвей.

Что же предприняла в связи со всем этим полиция? Она действовала обычным порядком. Приводили ищек, чтобы те взяли след предполагаемого убийцы; опрашивали жителей по всему Лаймхаусу; после каждого преступления вызывали полицейского хирурга, который внимательно обследовал трупы на месте, а затем с примерным тщанием проводил вскрытие в участке. Ряд подозреваемых был подробно допрошен — правда, поскольку в обычном человеческом облике никто, по существу, Голема не видел, улики против этих людей были в лучшем случае косвенные. Поэтому обвинений никому предъявлено не было, и восьмой полицейский округ стал мишенью весьма острой газетной критики. В «Иллюстрейтед сан» даже появился лимерик, высмеивающий полицейского инспектора, который вел дело:

Дал Килдэр нам честное слово,  
Что изловит он Голема злого.  
В похвальбе у Килдэра  
Отсутствует мера —  
Ловит воздух он снова и снова.

## Глава 3

*Все материалы суда над Элизабет Кри по обвинению в отравлении мужа взяты из полных стенограмм за 4-12 февраля 1881 года, опубликованных в «Иллюстрийтед полис ньюс ло корте энд уикли рекорд».*

**Мистер Грейторекс.** Покупали ли вы мышьяк в порошке в аптеке Хэнуэя на Грейт-Титчфилд-стрит утром двадцать третьего октября прошлого года?

**Элизабет Кри.** Да, сэр. Покупала.

**Мистер Грейторекс.** Для чего он вам понадобился, миссис Кри?

**Элизабет Кри.** В подвале завелась крыса.

**Мистер Грейторекс.** В подвале завелась крыса?

**Элизабет Кри.** Да, сэр. Крыса.

**Мистер Грейторекс.** Мышьяк, без сомнения, можно было купить и где-нибудь поближе к вашему дому, в Нью-кросс. Зачем вы поехали на Грейт-Титчфилд-стрит?

**Элизабет Кри.** Я хотела навестить приятельницу, живущую в той части города.

**Мистер Грейторекс.** И навестили?

**Элизабет Кри.** Ее не было дома, сэр.

**Мистер Грейторекс.** Значит, вы вернулись в Нью-кросс, купив мышьяк, но не навестив приятельницу. Так или нет?

**Элизабет Кри.** Так, сэр.

**Мистер Грейторекс.** Мышьяк подействовал?

**Элизабет Кри.** Да, тварь уничтожена, сэр. *(Смех в зале.)*

**Мистер Грейторекс.** Вы отравили крысу?

**Элизабет Кри.** Да, сэр.

**Мистер Грейторекс.** Вернемся теперь к иной, более прискорбной кончине. Получается, что ваш муж захворал вскоре после вашего визита на Грейт-Титчфилд-стрит.

**Элизабет Кри.** Он постоянно жаловался на желудок, сэр. Еще с той поры, как мы познакомились.

**Мистер Грейторекс.** А когда, кстати, это произошло?

**Элизабет Кри.** Мы познакомились, когда я была очень молода.

**Мистер Грейторекс.** Верно ли, что в то время вы были известны как Лиззи с Болотной?

**Элизабет Кри.** Такое у меня было тогда прозвание, сэр.

## Глава 4

Я была у матери единственным ребенком, ребенком нежеланным и нелюбимым. Может быть, она хотела сына, чтобы он о ней заботился, но я в этом не уверена. Нет, она никого не хотела. Я думаю, что она, прости ее, Господи, убила бы меня, если бы духу хватило. Я была горьким плодом ее чрева, внешним знаком внутренней порчи, порождением распутства, символом грехопадения. Она много раз мне говорила, что отец мой умер, получив страшное увечье в Кентских каменоломнях; она представляла мне его последние мгновения, изображая, как обхватила ладонями его поникшую голову. Но он вовсе не умер. Из письма, которое она прятала под тюфяком нашей общей кровати, я узнала, что он ее бросил. Он и мужем-то ей не был — так, заурядный сердцеед и фат, сделал ей ребенка и скрылся. Этим ребенком была я, мне и пришлось нести бремя материнского стыда. Порой она ночь напролет простаивала на коленях, моля Иисуса и всех святых уберечь ее от преисподней; но если есть на том свете хоть какая-то справедливость, ныне она там жарится. И пусть жарится.

Мы жили в Ламбете на Питер-стрит, что идет от Болотной улицы, и зарабатывали шитьем парусов для рыбацких лодок, стоявших у конного перевоза; это была невероятно трудная работа, даже кожаные перчатки не спасали рук от игл и грубой ткани. Да хоть сейчас посмотреть на мои ладони — такие натруженные, такие измочаленные. Кладу их на лицо и чувствую все эти борозды, глубокие, как дорожные колеи. Большие, большие руки, часто говорила мне мать. У женщины не должно быть таких больших рук. И такого большого рта, как у тебя, мысленно добавляла я. Уж как она молилась, как завывала, когда мы работали, — всю чушь повторяла, какую нес преподобный Стайл, что служил в часовне на Ламбет-хай-роуд. То она кричит: «Прости, Господи, мои прегрешения!», то, миг спустя: «Какое умиление, какой восторг!» Она и меня таскала с собой в эту часовню; все, что помню, — как дождь стучал по крыше и как мы распевали гимны по молитвеннику Уэсли. А потом опять за шитье. Кончив чинить парус, мы несли его к перевозу. Раз я водрузила ткань себе на голову, но мать шлепнула меня и сказала, что это непристойно. Уж у нее-то был опыт по непристойной части; шлюха — шлюха и есть,

хоть бы она и трижды раскаялась. А у кого, как не у шлюхи, мог без мужа родиться ребенок? Рыбаки звали меня Малюткой Лиззи и о дурном не помышляли, но иные джентльмены у реки шептали мне на ухо всякую всячину, заставляя меня улыбаться. От худших учителей в мире я набралась разных слов и по ночам произносила их в подушку.

Стены наших двух комнат были бы совершенно голыми, если бы мать не оклеила их страницами из Библии. Страницы покрывали их сплошь, почти без промежутков, и с самого раннего детства перед глазами у меня стояли одни слова. Я и читать-то научилась по этим текстам и до сих пор помню места, которые тогда затвердила: «И взял весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки и тук их, и сжег Моисей на жертвеннике». И еще: «У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне». Я произносила эти фразы утром и вечером, я утыкалась в них взглядом, поднявшись с постели, и смотрела на них прежде, чем смежить веки.

Есть место у меня между ног, которое моя мать ненавидела и проклинала; даже когда я была совсем маленькая, она щипала меня там со всей силы и колола иглами, желая показать мне, где у женщины находится средоточие боли и наказания. А потом, увидев мои первые менструальные выделения, она попросту обезумела. Попыталась засунуть в меня какие-то старые тряпки — мне пришлось ее отпихнуть. Я и раньше иногда ее боялась, но теперь, когда она плюнула в меня и ударила по щеке, меня охватил ужас; я схватила иглу и пырнула ее в запястье. Увидев кровь, она приложила руку к лицу и засмеялась. «Кровь за кровь, — сказала она. — Молодая кровь за старую». После этого она стала хворать. Я купила слабительные таблетки и болеутоляющую микстуру в дешевой аптеке на Орчард-стрит, но это не помогло. Она стала бледная, как парусина, из которой мы шили, и так ослабла, что едва справлялась с работой; ее день и ночь рвало — можете представить, сколько всего вдруг свалилось на мои плечи.

В нашем квартале иногда появлялся молодой врач из благотворительной больницы на Боро-роуд, и я упросила его к нам зайти; он пощупал ее пульс, посмотрел язык, понюхал, как пахнет изо рта, и быстро отступил назад. Он сказал, что ее почки медленно, но верно гниют; услышав это, она опять взмолилась своему боженьке.

Потом врач взял меня за обе руки, наказал быть доброй девочкой и вынул из сумки пузырек с медикаментом.

— Тихо, мама, — сказала я, как только он ушел. — Неужто ты еще надеешься воплями разжалобить твоего боженьку? Вот дуреха-то, я просто диву даюсь! — Она была очень слаба и даже руку не могла поднять, не то что ударить, и я не видела больше смысла ее щадить. — Уж не знаю, каким надо быть зловредным демоном, чтобы обречь человека на такую жалкую смерть. С Болотной улицы покатишься напрямиком в ад — вот и весь ответ на твои молитвы!

— О Господи, Ты моя подмога в веках. Стань же ныне водою, утешь меня в бедствии моем.

Это были не более чем слова, вызубренные по молитвеннику, и, когда она раскрывала рот, мне смешно было видеть ее язык. Он был весь покрыт язвами.

— Уж скорее я тебя утешу, мама. Я тебе дам настоящей воды.

Я наполнила ложку жидкостью из пузырька и дала ей выпить. Потом посмотрела вверх и увидела наклеенный на потолок текст.

— Глянь-ка, мама, — сказала я. — Вот тебе еще один знак свыше. Что, прочесть не можешь, гадкая девчонка? «Отче Аврааме! Умилосердись надо мною и пошли Лазаря, — кто твой Лазарь, мама? — чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем». Твои мучения уже пришли, мама? Или еще нет?

Она едва могла говорить, и я наклонилась, чтобы услышать ее зловонный шепот:

— Нет суда, кроме суда Господня.

— Да посмотри на себя. Какой еще нужен суд?

После этого она снова завывала, да так, что терпение мое лопнуло. Я вышла из дома и двинулась к реке. Девушки с Болотной считаются легкой добычей, но когда некий джентльмен иностранного вида посмотрел на меня именно с таким выражением, я засмеялась ему в лицо и продолжала идти к берегу. Увидев, что паром вот-вот отправится, я поддернула юбку, перепрыгнула через канаву и побежала к нему; мама говорила мне, что неприлично молодой женщине бегать, — но как она меня теперь остановит? Паромщик хорошо меня знал и не взял за перевоз ничего, так что я оказалась на Миллбэнк, имея в кармане больше, чем рассчитывала!



Я мечтала в жизни только об одном: побывать в мюзик-холле. У обелиска, недалеко от нашего дома, было варьете Карри, но мама говорила, что это логово дьявола и что мне там делать нечего. Я видела афиши, зазывающие на комические дуэты и сольные номера, но об артистах знала примерно столько же, сколько о херувимах и серафимах, которым моя мать воссылала свои вопли. Для меня эти смехачи и чечеточники были существами не менее возвышенными, чудесными, достойными поклонения.

Быстро, как только могла, я миновала Миллбэнк и пошла к новому мосту; я тогда не очень хорошо знала Лондон, и он показался мне таким огромным, таким неприветливым, что на мгновение я приостановилась, оглянулась и стала искать глазами свой квартал в Ламбете. Но там лежала и гнила мать, и я с облегчением двинулась дальше мимо бесчисленных домов и магазинов; меня одолевало любопытство, и ни разу мне не пришло в голову, что юной девушке на этих улицах может угрожать какая-нибудь опасность. Я вышла на Стрэнд, повернула на Крейвен-стрит у водокачки и вдруг увидела дешевый балаганчик, перед которым толпился народ. Верней, мне сначала показалось, что это балаганчик, но подойдя поближе, я поняла, что это настоящий зал варьете с цветными стеклами и нарисованными краской фигурами — и как разительно он отличался от окружавших его угрюмых старых строений! Тут и запах стоял особый, запах пряностей, апельсинов и пива, немного похожий на запах лодочных мастерских, как идти к Саутуарку, но гораздо более сложный и насыщенный. На фасаде здания была косо наклеена афиша с ярко-зелеными буквами; директор, должно быть, только-только ее повесил, потому что у нее сгрудилось немало людей. Я прочитала афишу с интересом, ведь до сих пор я и знать не знала, что есть такой «Дэн Лино, мал, да удал, трюкач, штукарь и дока по части перевоплощения».

## Глава 5

Элизабет бродила по улицам, пока совсем не стемнело, но она не хотела слишком уж удалиться от театра и поэтому не покидала оплетающую Стрэнд паутину переулков. Раз или два она слышала негромкое мягкое посвистывание и думала, что кто-то, наверно, идет за ней следом. У поворота на Вильерс-стрит ее поманил к себе мужчина, но она, бешено выругавшись, подняла повыше свои большие натруженные руки с отпечатками грубых волокон парусины — и он тихо попятился. Только раз, проходя мимо старого церковного кладбища в Майтер-корт, она вспомнила о матери, но уже надо было торопиться на представление Дэна Лино, и она побежала на Крейвен-стрит. Место в райке стоило два пенса, внизу, в «преисподней», — четыре; она выбрала «преисподнюю».

В зальчике стояло несколько старых деревянных столов, сидящие за ними люди заказывали еду и выпивку, и три подавальщицы в черных с белым клетчатых передниках сбивались с ног, бегая за новыми порциями копченой лососины, сыра, пива. Очень пожилая и очень краснолицая женщина в диковинном парике, чьи кудряшки ниспадали ей на щеки и лоб, опустилась на стул подле Элизабет.

— Одно слово — сброд, милочка моя, — сказала она, усевшись. — Не знаю, зачем сюда хожу.

Элизабет с трудом ее расслышала — такой стоял гвалт. Женщина протянула руку, остановила мальчика, с трудом волокущего тяжелую корзину с фруктами, купила апельсин и засунула себе под лиф между грудей.

— Это про запас. — Она состроила гримасу и, взяв со стола тарелку, стала ею обмахиваться, как веером. — Вони-то, вони от них.

Но Элизабет была привычна к людскому запаху, да и не до того ей было, чтобы принюхиваться, — ее внимание было приковано к потертому занавесу. Чрезвычайно тучному мужчине в очень странном полосатом сюртуке помогли взобраться на деревянные подмости, и он, хотя был изрядно выпивши, все же сумел встать прямо и властным движением вскинуть руки.

— Прошу тишины! — воскликнул он весьма суровым тоном, и Элизабет с удивлением заметила, что к лацкану у него приколот целый

букет гераней. Наконец под возгласы и смех публики он начал выступление. — Резкий восточный ветер испортил мой голос, — проревел он и стал ждать, пока поутихнут крики и свист. — Я просто ошеломлен вашим великодушием. Первый раз вижу такое большое общество с такими изысканными манерами. Я чувствую себя как на чаепитии.

Зал грохнул так, что Элизабет пришлось закрыть уши ладонями; краснолицая старуха повернулась к ней и подмигнула, а потом подняла мизинец правой руки в некоем приветствии.

— Смертному не дано властвовать над успехом, — продолжал он. — Но я совершу невозможное. Я заслужу его. Прошу заметить, что студень из говяжьих хвостов сегодня идет всего по три пенса.

Дальше было много всякого в таком же роде, отчего Элизабет изрядно заскучала, но вот наконец на сцену вышла девушка в большом старомодном капоре и отодвинула занавес; за ним открылось изображение лондонской улицы, которое в мерцающем газовом свете показалось Элизабет самым восхитительным зрелищем на свете. До той поры единственной живописью, какую она знала, была грубая мазня на бортах лодок, а тут ей явился Стрэнд, по которому она только что шла, но насколько же более ярким, переливчатым и праздничным был он сейчас, с красными и синими вывесками магазинов, с высокими фонарями, с грудями товаров на лотках! Это было лучше, чем любые воспоминания.

Из-за кулис вышел юноша, и публика в предвкушении засвистела и затопала ногами. У него было самое странное лицо из всех, какие она видела; такое худое и вытянутое, что рот пересекал его от одного края к другому, и ей почудилось, будто он опоясывает голову чуть ли не сплошным кольцом; такое бледное, что большие темные глаза светились на нем как два угля и смотрели, казалось, куда-то за грань нашего мира. На нем был цилиндр вышиной почти с него самого и диковинное пальто сплошь из разноцветных заплат. Элизабет сразу поняла, что он изображает итальянца-шарманщика, и зрители притихли, слушая, как он протяжно и томно поет: «Сжальтесь над несчастным итальянцем». Она готова была заплакать от печали и сострадания к маленькому горемыке, но после нескольких куплетов он засунул руки в карманы и небрежной походкой ушел со сцены. Чуть погодя появилась старуха — правда, насколько Элизабет могла судить,

старуха была ненастоящая. Женщина не имела возраста, или, верней, любой возраст ей был впору; одета она была в простое платье с передником.

— Мне так было худо вчера вечером, — обратилась она к зрителям, которые, к удивлению Элизабет, уже всю смеялись. — Ужасно худо. Дочка, понимаете ли, ко мне вернулась. — Вдруг Элизабет вспомнила о своей матери, лежащей с гнилой почкой, и тоже начала смеяться. Смеясь, она поняла, что на сцене все тот же юноша, только переодевшийся в женское платье; и уже никакого страдания, никакой боли не осталось в помине. — Ну и скупердяйка же она у меня, дочка-то. Такая скупердяйка, что купит полдюжины устриц и давай уписывать перед зеркалом, чтобы вышла дюжина. Нет, вы *должны* мою дочку знать. Боже правый. Да не прикидывайтесь глупенькими. Мою дочку все знают.

Юноша, переодетый старухой, теперь, поддернув юбку, начал отплясывать чечетку в деревянных башмаках, и весь маленький зальчик, казалось, был озарен светом его личности. Элизабет поняла, что это и есть Дэн Лино, про которого она прочитала в афише. Долго ли шло его выступление, она не смогла бы сказать, но потом она едва обратила внимание на дуэты куплетистов, акробатические трюки и песенки актеров, загримированных под негров. На уме у нее была только странная комедия, которой Лино утихомирил несчастье ее жизни.

Представление кончилось. Когда шаркающая толпа зрителей вынесла ее на улицу, это было словно изгнание во тьму из какого-то светлого мира. Она добрела до конца Крейвен-стрит, потом пересекла реку по Хангерфордскому мосту; даже в темноте хорошо зная, как идти на Болотную, она медленно двинулась вдоль речного берега, где всю хозяйничали крысы и «жаворонки нечистот». [\[1\]](#) Трое мальчишек что-то тащили из воды, но даже к этому зрелищу она осталась равнодушна после восхитительного представления на Крейвен-стрит. До своего жилья на Питер-стрит она доплелась совершенно обессиленная переживаниями вечера и лишь походя взглянула на лежащую в постели мать; у той из угла рта текла белая и зеленая слюна, и в беспомощности она дрожала всем телом. Наконец все-таки Элизабет достала снадобье, которое еще раньше сама приготовила, и

заставила мать выпить. «Да не прикидывайся, мама, глупенькой, — шепнула она. — Вот и славно, молодчина». Потом начала срывать со стен приклеенные страницы Библии.

Через два дня состоялись нищенские похороны, и в тот же вечер Элизабет опять пришла в театр на Крейвен-стрит, где услышала, как Дэн Лино поет одну из тех песенок, что принесли ему славу «самого смешного человека на свете»:

Любовь у каменщика Джима  
Не холодна, не горяча.  
В меня, когда иду я мимо,  
Швыряет он полкирпича.

## Глава 6

Дэна Лино часто называли самым смешным человеком того времени, да и всех времен; однако, может быть, точнее всех о нем отозвался Макс Бирбом в «Сатердей ревью»:

«Берусь утверждать, что всякому, кто видел Дэна Лино, он полюбился с первого взгляда. Вот он выскакивает на сцену с обычной своей отчаянной решимостью, всем перекрученным телом и каждым жестом неудержимо изливая некую горькую обиду, — и уже миг спустя все сердца принадлежат ему... этому несчастному, забитому человечку, облапошенному, но задиристому, с таким писклявым голоском и такими размашистыми движениями, гнутому, но не сломленному, хилому, но настырному, воплощающему в себе волю к жизни в мире, не стоящем того, чтобы в нем жить...»

Он родился в доме номер четыре по Ив-корт поблизости от старой церкви Св. Панкратия до того, как Центральная железнодорожная компания возвела на этом месте вокзал; странным образом он появился на свет в тот же день, что и Элизабет Кри, — двадцатого декабря 1850 года.<sup>[2]</sup> Его родители были «люди театра» — они концертировали в различных мюзик-холлах и варьете как «мистер и миссис Джонни Уайлд, певческий и актерский дуэт» (Дэна Лино в действительности звали Джордж Гэлвин, но он очень скоро отказался от этого имени; точно так же Элизабет Кри никогда не выступала под фамилией матери). Их сын впервые вышел на подмостки четырех лет от роду в падингтонском мюзик-холле «Космотека», и первый сценический наряд мать ему сшила из старого шелкового каретного тента. На этой ранней стадии своей карьеры он был означен в афишах как «трюкач, штукарь и дока по части перевоплощения», и действительно, он очень чисто исполнял ряд номеров, особенно тот, в котором изображал штопор, открывающий винную бутылку. В восемь лет он сделался в афишах «великим малышом Лино» (всю жизнь он оставался очень малорослым человеком), а через год уже славился как «великий малыш Лино, квинтэссенция комизма кокни» или же как «мастер разговорного жанра, воплотитель лондонских характеров». К осени 1864 года, когда Элизабет впервые его увидела, он уже

выработал тот неповторимый юмор, который сделал его знаменитым. И как же вышло, что спустя менее чем двадцать лет полицейские из Лаймхаусского отделения заподозрили его в том, что он и есть Голем-убийца из Лаймхауса?

## Глава 7

*Ниже приводятся отрывки из дневника мистера Джона Кри, проживавшего в Нью-кросс-виллас, что в южном Лондоне; дневник ныне хранится в отделении рукописей Британского музея с шифром Add. Ms. 1624 /566.*

*6 сентября 1880 года.*

Утро сегодня было прекрасное, солнечное, и я почувствовал, что убийство стучится в дверь. Мне необходимо было затушить этот огонь, и я взял кеб до Олдгейта, а оттуда пошел пешком в сторону Уайтчепела. Могу смело сказать, что я действительно жаждал боевого крещения, и мне пришлось в голову начать сразу с новинки: испить последний вздох умирающего ребенка и проверить, вольется ли его юная душа в мою душу. О, в этом случае я жил бы вечно! Но отчего непременно ребенок, когда стодится любая душа? Вот и опять я дрожу всем телом.

Я думал, что в районе Гэммон-сквер будет болеелюдно, но обитатели этих убогих мебелишек готовы дрыхнуть хоть целый день, заглушая голод. В прежние годы они были бы на улице уже на рассвете, но в наше время устои рушатся повсеместно: до чего, спрашивается, мы докатились, если трудящиеся массы больше не считают нужным трудиться? Я свернул на Хэнбери-стрит, и вот она, эта вонь. Воздух насыщен отвратительным духом пирожковых лавок, где столь же обильно, как всегда, идет в дело кошачье и собачье мясо, где нет прохода от торговцев-евреев с их неизменным «Постойте, не убегайте» и «Как ваше самочувствие в такой чудный денек?». Впрочем, еврейскую вонь я еще могу терпеть, но вот запах ирландца, густой и тяжелый, как запах испорченного сыра, совершенно невыносим. Два таких субчика лежали мертвецки пьяные у кабака, и мне пришлось пересечь улицу, чтобы не задохнуться. Там я зашел в ветхую кондитерскую и на пенни купил лакричных леденцов, чтобы вычернить себе язык. Кто знает, где он еще окажется сегодня вечером. Потом у меня возникла другая замечательная мысль. До темноты оставался час-другой, и я точно знал, что совсем рядом, чуть в сторону реки, находится дом, ставший в 1812 году аренной незабываемых



убийств на Рэтклиф-хайвей. В этом месте, столь же памятном и священном, как Тайберн<sup>[3]</sup> или Голгофа, целая семья была таинственно и безмолвно препровождена в мир иной, после чего деяние совершившего это художника увековечил на своих страницах Томас Де Куинси. Джон Уильямс явился в дом Марров и стер их с лица земли, как стирают надпись с грифельной доски. Что могло быть приятнее для меня, чем прогулка по этой улице?

Для столь величественного преступления дом оказался слишком уж невзрачным — узкий фасад, в первом этаже магазин, над ним жилые комнаты. Этот самый Марр, чья кровь пролилась ради славы, был по роду занятий галантерейщик. Теперь тут расположился магазин ношеной одежды. Так, согласно Библии, оскверняются святые храмы. Недолго думая, я вошел и спросил хозяина, как идут дела.

— Неважно, сэр, — ответил он. — Неважно.

Я впери́л взгляд в то место позади прилавка, где Уильямс раскроил череп одному из детей.

— Место как будто бойкое, разве нет?

— Так считается, сэр. Но здесь, на Рэтклиф-хайвей, легких времен не бывает. — Он смотрел, как я нагибаюсь и трогаю пол указательным пальцем. — Такому джентльмену, как вы, польститься здесь, пожалуй, не на что. Или я ошибаюсь?

— У моей жены есть горничная, и я ищу ей платье попроще. Есть у вас что-нибудь?

— Да, сэр, конечно, тут имеется много платьев разных фасонов. Эти, например, вполне еще смотрятся.

Он показал жестом на вешалки со старомодными обносками; я наклонился, чтобы вдохнуть их запах. Какую же затхлую плоть облегало это тряпье! И в этом вот помещении — может быть, на этих вот половицах — художник, алчущий новой крови, преследовал хозяйку дома.

— У вас есть жена, дочь?

Мгновение он смотрел на меня, потом засмеялся.

— А, понятно, о чем вы, сэр. Нет, они никогда этого не берут. Уж не настолько мы бедные.

Джон Уильямс тогда взбежал по этой самой лестнице и убил женщину ударом по голове, хоть она и перегнулась через каминную решетку.

— Тогда вас не должно удивлять, что я не возьму этого даже для горничной. Удачной вам торговли. Меня ждет еще дело в другом месте.

Я вышел на Рэтклиф-хайвей и не мог воспротивиться искушению взглянуть на окна второго этажа. Какие же чудеса совершились в этом замкнутом, ограниченном пространстве! И что, если бы они произошли вновь? Видывал ли город работу столь завершенную?

Но мне надо было начать с мелкой рыбешки, поймать и изжарить килечку. Начинало темнеть, и когда я вошел в Лаймхаус, уже стали загораться газовые фонари. Подходящее время, чтобы показать себя; но я пока что был учеником, подмастерьем, начинающим и не мог выйти на большую сцену без репетиции. Я должен был сперва отточить мастерство, улучив тайный час, выхватив его из суеты большого города; если бы я только мог отыскать уединенную рожицу и, уподобляясь некоему пасторальному существу, облагрить зеленый сумрак лондонской кровью! Но на это рассчитывать не приходилось. В моем собственном частном театрике, в ярком световом пятне под газовым фонарем — тут я должен был оставаться, тут мне надлежало играть. Но для начала сыграем за опущенным занавесом...

У входа в один переулок поблизости от театра «Лейбернум плейхаус» прохаживалась нахальная девчонка; навряд ли ей было больше чем восемнадцать-девятнадцать, но по уличным меркам она была уже в возрасте. Она хорошо усвоила Библию этого мира — можно сказать, сердцем; и каким оно, это сердце, может оказаться, если его извлечь с любовью и тщанием! Я последовал за ней, когда она двинулась к углу Глоблейн, где в меблированных комнатах обитают матросы. Видите, как я уже знаю город? Я заранее приобрел «Новый план Лондона» Марри и изучил все входы и выходы. Дойдя, она остановилась, и через минуту-другую к ней подошел рабочий, весь выпачканный кирпичом, и зашептал ей на ухо. Она что-то ответила, и вслед за тем началось быстрое движение; она повела его по Глоблейн к разрушенному дому. Когда они опять оказались на свету, на ней была пыль с его одежды.

Я подождал, пока они разошлись, и приблизился к ней.

— Пыльная, однако, у тебя работенка, лапочка моя, — сказал я.

Она усмехнулась, и в ее дыхании я почувствовал запах джина. Ее внутренности уже начали проспиртовываться, словно в банке хирурга.

— Мне разницы нет, — сказала она. — А вы при деньгах?

— Убедись сама. — Я вынул блестящую монету. — И на меня взглянуть не забудь. Джентльмен я или нет? Думаешь, я соглашусь валяться с тобой на улице? Мне требуется хорошая постель и четыре стены.

Она вновь усмехнулась.

— Ладно, джентльмен, но тогда надо задержаться у «Плечика».

— У плечика? Дай пощупаю.

— Джина нужно купить, сэ. Джина, и побольше, если хотите хорошо развлечься.

«Плечико» оказалось кабаком наихудшего сорта чуть в стороне от Уик-стрит, набитым всевозможными людскими отбросами Лондона. Как обычному человеку эта мерзость доставила бы мне удовольствие — я вскинул бы руки к небу и присоединился к общему богохульному воплю, — но как художник я должен был воздержаться. Мне нельзя было мелькать на публике перед сногшибательным дебютом. Она заметила мое колебание и сказала с легким смешком:

— Вы, я вижу, и впрямь джентльмен, так и не надо вам туда соваться. Я родилась тут, сама дорогу найду.

Я дал ей денег, и через несколько минут она вернулась с ночным горшком, полным джина.

— Да чистый он, чистый, — сказала она. — Мы ничего в эти посудины не делаем. Улицы на что?

Она повела меня в ближайший двор размером не больше носового платка; начав подниматься по истертым деревянным ступеням, она споткнулась, и немного джина выплеснулось из горшка. Кто-то пел в одной из комнат, мимо которых мы шли, и слова старой песенки, звучавшей когда-то в мюзик-холлах, были знакомы мне так хорошо, словно я сочинил их сам:

Я час побыл с моей зазновой  
Наедине, наедине.  
Из-за стряпни ее, должно быть,  
Я полыхаю, как в огне.

Но на верхнем этаже все было тихо; там мы вошли в комнату, которую скорее можно назвать каморкой или клетушкой. На полу лежал засаленный тюфяк, на стены она приклеила фотографии Уолтера Батта, Джорджа Байрона и других кумиров сцены. В воздухе стоял застарелый дух алкоголя, крохотное окошко было кое-как занавешено рваной простыней. Итак, вот она, моя зеленая комната<sup>[4]</sup> — или, точнее, красная. Вот где я впервые ступлю на мировую сцену. Она взяла грязную чашку, черпнула из горшка и выпила джин залпом. Я забеспокоился, как бы она не упустила потеху, которую я замыслил, но при всем том мне было совершенно ясно, что она желает так или иначе покинуть этот печальный мир. Кто я такой, чтобы останавливать ее или переубеждать? Я стоял неподвижно и смотрел, как она осушает новую чашку. Потом, когда она легла, я склонился над ней и начал счищать с ее платья грязь и кирпичную пыль. Выпитое привело ее в почти бессознательное состояние, но все же она сумела ухватить меня за руку, когда я до нее дотронулся. «Что вы собрались со мной делать, сэр?» И она опять погрузилась в забытие, и мне почудилось, что она разгадала мою игру и добровольно подставляет тело ножу. Ведь бывают же несчастные создания, которые, прослышав о холере, спешат в охваченные ею кварталы в надежде заразиться. Не из таких ли она? И если из таких, то не преступно ли будет оставить ее желание неудовлетворенным?

Мне ни к чему были следы ее крови на моей одежде, поэтому я снял плащ, пиджак, жилетку и брюки; на ее двери висело поношенное пальто, отороченное облезлым мехом, и я закутался в него прежде, чем вынуть нож. Эту прелестную вещицу с резной рукояткой из слоновой кости я купил на Хей-маркете в магазине Гиббона за пятнадцать шиллингов; жаль только, что ей суждено, побывав в человеческом теле, навсегда утратить первозданный блеск. Помню, как школьником я печалился, когда первая выведенная чернилами строчка губила чистоту новой тетради, — теперь мне вновь предстояло начертать мое имя, правда, иным инструментом. Она шевельнулась лишь после того, как я извлек кусочек кишки и нежно на него подул; она издала звук, похожий на стон или вздох, — впрочем, сейчас, восстанавливая сцену перед мысленным взором, я думаю, что это могла быть ее душа, оставляющая земные пределы. Она открыла глаза, и мне пришлось вынуть их ножом из страха, что мой облик выжжен теперь на них

навек. Я окунул ладони в ночной горшок и смыл ее кровь ее же джином; потом в приступе буйной радости я сел на горшок и облегчился. Дело было кончено. Я изверг ее из мира, затем изверг из себя кал. Мы оба стали порожними сосудами, ожидающими Господа.

*7 сентября 1880 года.*

Дозволено ли мне будет процитировать Томаса Де Куинси? На страницах его эссе «Взгляд на убийство как на одно из изящных искусств» я впервые прочитал о смертях на Рэтклифф-хайвей, и с той поры это произведение стало для меня постоянным источником восторга и изумления. Кто может остаться равнодушным к портрету Джона Уильямса? Убийцы, вершившего свои дела из «чистого сладострастия, без единой мысли о выгоде» и создавшего кровавую трагедию, достойную пера Мидлтона или Тернера?<sup>[5]</sup> Погубитель семьи Марров был «одиноким художником, свивший гнездо в сердце Лондона и черпающий силу в своем собственном осознанном величии», — художник, сделавший Лондон одновременно мастерской и галереей для демонстрации своих шедевров. И до чего тонко объясняет Де Куинси ярко-желтый цвет волос Уильямса — «посередине между оранжевым и лимонным» — тем, что он красил их, намеренно создавая контраст к «бескровной, призрачной бледности» своего лица! Я в восхищении обхватывал и сжимал себя руками, впервые читая о том, как он наряжался для каждого убийства — словно для выхода на сцену: «Готовясь к очередному грандиозному кровопролитию, он всегда надевал черные шелковые чулки и лакированные туфли; ни при каких обстоятельствах он не унижил бы себя как художника затрапезным платьем. После его второго ярчайшего спектакля тот, кому, как увидит в дальнейшем читатель, было суждено стать, дрожа от смертельного ужаса в потайном месте, единственным выжившим свидетелем его зверств, особо отметил в устных и письменных показаниях, что на мистере Уильямсе был долгополоый синий сюртук из роскошного материала на великолепной шелковой подкладке». Но довольно — я искренне рекомендую читателю этот труд. Так, кажется, говорят в подобных случаях?

*8 сентября 1880 года.*

Целый день дождь. Читал Теннисона моей дорогой женошке  
Элизабет перед отходом ко сну.

## Глава 8

**Элизабет Кри.** Я предполагала, что у мужа желудочное воспаление. Поэтому я посоветовала ему послать за врачом.

**Мистер Грейторекс.** Часто он раньше жаловался на нездоровье?

**Элизабет Кри.** Он постоянно страдал желудком; мы приписывали это газам.

**Мистер Грейторекс.** В тот вечер он получил какую-нибудь медицинскую помощь?

**Элизабет Кри.** Нет. Он отказался.

**Мистер Грейторекс.** Отказался? Почему?

**Элизабет Кри.** Он сказал, что в ней нет необходимости, и попросил меня дать ему известковой воды.

**Мистер Грейторекс.** Странная просьба, не правда ли, для человека, страдающего такими жестокими болями?

**Элизабет Кри.** Я думаю, он хотел омочить этой водой лоб и виски.

**Мистер Грейторекс.** Не расскажете ли вы суду, что произошло дальше?

**Элизабет Кри.** Я спустилась вниз приготовить питье, после чего вдруг услышала шум из его комнаты. Я тут же вернулась и увидела, что он упал с кровати и лежит на турецком ковре.

**Мистер Грейторекс.** Сказал он вам что-нибудь?

**Элизабет Кри.** Нет, сэр. Я видела, что ему трудно дышать и что губы у него покрылись пеной.

**Мистер Грейторекс.** И что вы тогда сделали?

**Элизабет Кри.** Я позвала нашу горничную Эвлин и велела ей присмотреть за ним, пока я схожу за врачом.

**Мистер Грейторекс.** Сказали ли вы соседу, которого встретили по дороге, что Джон себя погубил?

**Элизабет Кри.** Я была в такой горячке, сэр, что мне трудно вспомнить, что я говорила. Я даже забыла надеть капор.

**Мистер Грейторекс.** Продолжайте.

**Элизабет Кри.** Быстро, как только могла, я привела нашего врача, и мы вместе вошли в комнату мужа. Эвлин стояла, склонившись над ним, но я сразу поняла, что он скончался. Врач понюхал его губы и

сказал, что нам следует известить полицию, coronera или кого-то еще в подобном роде.

**Мистер Грейторекс.** Почему он так сказал?

**Элизабет Кри.** Он заключил по запаху, что мой муж выпил синильную кислоту или другой яд и поэтому нужна посмертная экспертиза. Естественно, я была поражена, и мне потом сказали, что я лишилась чувств.

**Мистер Грейторекс.** Но почему несколькими минутами раньше вы крикнули на улице соседу, что ваш муж погубил себя? Как вы могли сделать такой вывод, если вы в тот момент еще полагали, что он страдает всего лишь желудочным заболеванием?

**Элизабет Кри.** Как я уже объяснила инспектору Карри, сэр, он раньше не раз угрожал самоубийством. У него был очень мрачный характер, и мне в моем смятении, должно быть, вспомнились эти угрозы. Я знаю, что на ночном столике у него лежала книга мистера Де Куинси об опиуме.

**Мистер Грейторекс.** Мистер Де Куинси, я полагаю, тут ни при чем.



## Глава 9

Молодой человек, сидящий в читальном зале Британского музея, почувствовал, открывая свежий номер «Пэлл-Мэлл ревью», что его рука немного дрожит. Он поднес ее к щетинистым усикам, отметил идущий от нее слабый запах пота и стал читать; он хотел запечатлеть этот миг, ощутить его на вкус — миг, когда он впервые увидел свои собственные строки напечатанными и помещенными под толстую обложку солидного лондонского ежемесячника. Словно кто-то другой, более именитый, чем он, обращается к нему с этих страниц — но нет, это не что иное, как его эссе «Романтизм и преступление». Быстро проглядев написанные им по просьбе редактора вступительные замечания о мрачной сенсационности, присущей газетным репортажам, он с наслаждением перешел к главной части:

«В поисках плодотворной аналогии я бы хотел обратиться к эссе Томаса Де Куинси „Взгляд на убийство как на одно из изящных искусств“, которое пользуется заслуженной известностью благодаря послесловию, посвященному необычайной теме — убийствам 1812 года на Рэтклиф-хайвей, когда в магазине, торгующем галантереей, была умерщвлена целая семья. Публикация этого эссе в „Блэквудсе“ вызвала критику со стороны тех представителей читающей публики, по мнению которых автор, приукрашивая ряд крайне жестоких убийств, тем самым принижает их трагическое значение. Действительно, Де Куинси, подобно некоторым другим эссеистам в начале нынешнего века (тотчас приходят на ум Чарльз Лэм и Вашингтон Ирвинг), порой вставляет прихотливые и даже легкомысленные пассажи в весьма серьезные и глубокие рассуждения; в его эссе встречаются места, где он, к примеру, окружает излишне ярким ореолом недолгие похождения убийцы, которого звали Джон Уильямс, и выражает недостаточно сочувствия к страданиям несчастных жертв. И все же вряд ли будет справедливо на одном лишь этом основании заключить, что само по себе подчеркивание красочности этих кровавых событий в каком-либо существенном смысле принижает или тривиализует их. Можно сделать прямо противоположный вывод: убийство семьи Марров в 1812 году получило некий апофеоз и обрело бессмертие в образной роскоши и

ритмических взлетах прозы Томаса Де Куинси. Безусловно, читатели „Блэквудса“ также распознали присутствие под поверхностью богато украшенной прозы Де Куинси идей и представлений, полностью исключаящих какие-либо попытки принизить гибель обитателей дома на Рэтклиф-хайвей».

На мгновение он остановился и просунул палец между шеей и жестким воротничком рубашки; что-то его словно душило, но, возобновив чтение, он вскоре перестал чувствовать какие-либо неудобства.

«Хорошо известно, что в разные эпохи на убийства и убийц смотрели по-разному. В убийстве есть своя мода, как есть она во всем, что связано с человеческим самовыражением; к примеру, в нашу эпоху частной жизни и домашней отгороженности популярным средством препровождения человека в мир иной стал яд, тогда как в шестнадцатом столетии из всех способов сведения счетов наиболее достойным мужчины и бойца считался удар холодным оружием. Формы, в которых человек выражает себя в культуре, весьма изменчивы, как доказывает в своей недавней работе Хукэм, поэтому нам, изучая эссе Томаса Де Куинси, следует принимать во внимание веяния времени. Необходимо отметить, что писатель был тесно связан с поколением английских поэтов, которые по всеобщему согласию определены как „романтики“; Колридж и Вордсворт были его близкими друзьями. На первый взгляд трудно характеризовать этим словом человека, обуреваемого картинами убийства и насилия, — и все же возникает цепочка весьма любопытных ассоциаций, ведущая от ужасного побоища в Лаймхаусе к миру „Прелюдии“ и „Полночного мороза“. Томас Де Куинси повествует об убийстве Марров в таком ключе, что убийца у него предстает во всем великолепии романтического героя. Джон Уильямс выступает как одиночка, обладающий тайной властью, как отщепенец и пария, в самом своем исключении из общественной иерархии и цивилизации, как таковой, почерпнувший невиданную мощь. В действительности это был ничем не примечательный бывший моряк, которому приходилось ютиться в дешевых меблированных комнатах и который по своей собственной неопишуемой глупости в конце концов попался; но Де Куинси превращает его в жестокое, неотвратимо разящее древнее божество с ярко-желтыми волосами и мертвенно-бледным ликом. В основе

романтического движения лежала вера в то, что плоды уединенного самовыражения чрезвычайно важны и способствуют раскрытию глубочайших истин, вот почему Вордсворт сумел создать из своих личных наблюдений и взглядов целую эпическую поэму. Джон Уильямс под пером Де Куинси становится Вордсвортом большого города, вдохновенным поэтом, который, в буквальном смысле кромсая по живому, переформирует наличную действительность согласно своим представлениям. Кроме того, литераторы, подобные Колриджу и Де Куинси, как все деятели культуры в начале нынешнего века, испытали сильное влияние немецкой идеалистической философии и вследствие этого проявляли особый интерес к фигуре „гения“, олицетворяющего напряженный, изолированный дух. Именно так Джон Уильямс был претворен в гения для своего собственного обособленного мира — гения, обладающего вдобавок преимуществом родственности идеям смерти и вечного безмолвия; достаточно вспомнить Джона Китса, которому во время убийств на Рэтклифф-хайвей было семнадцать лет, чтобы понять, какой силы может достичь этот образ одиночества». Библиотекарь принес и положил ему на стол две книги; молодой человек не поблагодарил его, только бросил взгляд на названия, потом пригладил волосы ладонью. Опять поднес руку к носу, понюхал пальцы и продолжил чтение.

«Берега прозы Де Куинси омываются и другими весьма мощными течениями. Разумеется, роковая фигура Джона Уильямса занимает автора в первую очередь, но он постарался представить читателю свое творение (каковым убийца, в сущности, является) на фоне громадного, чудовищного города; мало кто из сочинителей отличался столь острым и трагическим чувством места, и со страниц этого достаточно краткого эссе встает зловещий, сумрачный Лондон, прибежище таинственных сил, город шагов и вспышек во тьме, город каменных нагромождений, печальных переулков и наглухо запертых дверей. Лондон безмолвно, зловеще присутствует позади — или скорее даже внутри — самих убийств; Джон Уильямс словно бы становится ангелом-мстителем этого города. Откуда у Де Куинси такая одержимость, понять нетрудно. В самой своей скандально известной книге „Признания английского опиомана“ он вспоминает период своей жизни (прежде, чем он начал употреблять опиум), когда он был бездомным лондонским бродягой; ему тогда было только семнадцать лет, и он

сбежал из частной школы в Уэльсе. Добравшись до столицы, он тут же попал в ее мощные, безжалостные жернова. Он голодал; раз, устроившись на ночлег в полуразрушенном доме около Оксфорд-стрит, он обнаружил там „несчастную одинокую девочку, на вид лет десяти“, которая „жила и ночевала там совсем одна некоторое время до моего появления“. Ее звали Энн, и она испытывала постоянный и непреодолимый страх перед духами, которые будто бы окружали ее в этом ветхом строении. А воображению Де Куинси не дает покоя сама эта городская артерия — Оксфорд-стрит. В его „Признаниях“ она предстает улицей печальных тайн, „призрачного света фонарей“ и звуков шарманки; он описывает колоннаду, под которой с ним случился голодный обморок, и угол, где они встречались с Энн, чтобы утешать друг друга посреди „бескрайнего лондонского лабиринта“. Вот почему город и его неприкаянность в нем стали — если нам позволено будет позаимствовать фразу у великого поэта современности Шарля Бодлера — ландшафтом его воображения. Этим внутренним миром насквозь пронизано эссе „Взгляд на убийство как на одно из изящных искусств“ — миром, самыми сильными элементами которого являются страдание, бедность и одиночество. Кстати, на той же Оксфорд-стрит он в первый раз купил опиум; эта древняя дорога, можно сказать, напрямик привела его к тем кошмарам и фантазиям, что превратили Лондон в некое могучее видение, родственное видениям Пиранези, в каменный лабиринт, в пустыню слепых стен и дверей. Ведь именно такую картину он нарисовал много лет спустя, когда жил на Йорк-стрит у „Ковент-Гардена“.

Прослеживается еще одна любопытная и прихотливая связь между убийством и романтическим движением. „Признания“ Де Куинси были поначалу опубликованы анонимно, и одним из тех, кто приписывал себе их авторство, был Томас Гриффите Уэйнрайт. Уэйнрайт был чрезвычайно тонким критиком и журналистом: к примеру, он, в числе лишь немногих людей своего времени, сумел распознать гений малоизвестного тогда Уильяма Блейка. Он даже превознес „Иерусалим“, последнюю эпическую поэму Блейка, которую современники в один голос называли бредом сумасшедшего, расположившего Иерусалим — где бы вы думали? — на Оксфорд-стрит! Уэйнрайт был также восторженным почитателем Вордсворта и других поэтов „озерной школы“; но имелась у него еще одна

особенность, отмеченная Чарльзом Диккенсом в рассказе „Пойман с поличным“ и Булвер-Литтоном в „Лукреции“. Уэйнрайт был отъявленным и закоренелым убийцей, тайным отравителем, который, разделавшись с членами своей семьи, обратился затем к случайным знакомым. Он читал стихи днем и травил людей ночью».

Джордж Гиссинг отложил журнал; он еще не дошел до конца эссе, а уже заметил три синтаксические ошибки и несколько погрешностей стиля, что огорчило его больше, чем он мог предполагать. Как можно было выпустить в свет свое первое эссе в таком корявом виде? Прилив надежд и оптимизма начал уступать место прежнему унынию, и он закрыл «Пэлл-Мэлл ревью» со вздохом.

## Глава 10

**Мистер Грейторекс.** Можете ли вы объяснить, каким образом вышло, что ваш муж совершил самоубийство через два дня после того, как вы купили мышьяк у аптекаря на Грейт-Титчфилд-стрит?

**Элизабет Кри.** В тот вечер, вернувшись домой, я сказала ему, что купила средство от крыс.

**Мистер Грейторекс.** Кстати, о крысах. Ваша горничная Эвлин Мортимер в своих показаниях утверждала, что крыс в доме не было. Ведь дом, если я не ошибаюсь, новый?

**Элизабет Кри.** Эвлин редко когда навевалась в погреб, сэр. У нее слабые нервы, и поэтому я не стала ей рассказывать о моем открытии. А что касается дома...

**Мистер Грейторекс.** Да?

**Элизабет Кри.** Крысы бывают и в новых домах.

**Мистер Грейторекс.** Не сообщите ли вы мне, где вы оставили склянку с мышьяком?

**Элизабет Кри.** В комнатке за кухней, рядом с утюгами.

**Мистер Грейторекс.** И вы сказали мистеру Кри, где она?

**Элизабет Кри.** Насколько помню, да. В тот вечер за ужином мы вели общий разговор.

**Мистер Грейторекс.** К этому разговору мы вернемся позже, а теперь хочу напомнить вам замечание, которое вы сделали раньше. Вы сказали, что у вашего мужа был мрачный характер. Не разъясните ли подробнее, что вы имели в виду?

**Элизабет Кри.** Видите ли, сэр, он постоянно размышлял на некоторые темы.

**Мистер Грейторекс.** На какие?

**Элизабет Кри.** Он думал, что он проклят. Что черти ни на миг не упускают его из виду. Он думал, что они сначала уничтожат его разум, а потом примутся за тело, что ему назначено судьбой гореть в аду. Он был католик, сэр, и его мучили всякие страхи.

**Мистер Грейторекс.** Верно ли, что у него был солидный личный доход?

**Элизабет Кри.** Да, сэр. Его отец разбогател на железнодорожных акциях.

**Мистер Грейторекс.** Понятно. Не скажете ли вы мне теперь, как человек, подверженный тревогам столь необычного свойства, вел себя в течение дня?

**Элизабет Кри.** Каждое утро он отправлялся в читальный зал Британского музея.

## Глава 11

Ранней осенью 1880 года, непосредственно перед возникновением Голема из Лаймхауса, стояла чрезвычайно сырая и холодная погода. Печально известные туманы — «гороховые супы», так выразительно запечатленные Робертом Льюисом Стивенсоном и Артуром Конан Дойлом, были густы и темны как раз настолько, чтобы оправдывать свою литературную репутацию; но что беспокоило лондонцев больше всего — это вкус и запах тумана. Их легкие точно были забиты сгустками угольной пыли, языки и носоглотки распухли от того, что называли «шахтерской слизью». Может быть, именно поэтому читальный зал Британского музея был необычно полон в то промозглое сентябрьское утро, когда Джон Кри вошел в здание со своим кожаным саквояжем и перекинутым через руку аккуратно сложенным пальто. Он снял его, по своему обыкновению, еще под колоннадой, но на этот раз, прежде чем войти в теплое помещение, он оглянулся и посмотрел в туман со странно-скорбным выражением на лице. Белесые клочья еще витали вокруг Джона Кри, когда он вступил в обширный вестибюль, и в первый миг могло показаться, что это явление демона в пантомиме.<sup>[6]</sup> Правда, ничто другое в его внешности этого впечатления не подтверждало: ростом он был, как любили тогда говорить, середка на половинку, темные волосы были гладко причесаны. Сорока лет от роду, плотного телосложения, он, возможно, проявлял некоторую склонность к полноте, и его округлое мягкое лицо служило лишь обрамлением для необычайных по бледности голубых глаз; бледность их была такова, что немудрено было принять Джона Кри за слепца, но стоило посмотреть на него чуть пристальней, и становилось понятно, что эти глаза в каком-то смысле глядят *внутрь* тебя.

В читальном зале у него было привычное место — С-4, но в это утро его уже успел занять бледный молодой человек, который нервно постукивал рукой по зеленой кожаной обивке стола, читая «Пэлл-Мэлл ревью». Рядом с ним в зале, полном почти до предела, было свободное место, и Джон Кри аккуратно поставил там свой саквояж. По другую сторону от свободного места сидел пожилой человек с необычно



длинной по тем временам бородой. Если бы Джону Кри сказали, что он сидит между Джорджем Гиссингом и Карлом Марксом, он не придавал бы этому обстоятельству никакого значения, не будучи знакомым ни с именами, ни с трудами этих людей; единственным чувством, которое он испытывал в описываемое утро, было раздражение от того, что он оказался, по его собственному мысленному выражению, «зажат в тиски». Несмотря на это, Маркс и Гиссинг в очень скором времени сыграют некую роль в его истории.

Какие же книги избрал Джон Кри для чтения в этот туманный осенний день? За ним числились «История английской бедноты» Пламстеда и «Несколько вздохов из преисподней» Молтона. Темой обеих книг была жизнь обездоленных и бродяг столицы, и по этой причине книги возбуждали в нем особый интерес; его чрезвычайно занимали нищета и порождаемые ею преступления и недуги. Вероятно, этот интерес был не совсем обычен для человека его класса и происхождения; его отец был богатым галантерейщиком в Ланкастере, но Джон Кри, к немалому разочарованию семьи, не достиг успеха в торговле. Он приехал в Лондон, желая выйти из отцовской тени и попробовать свои силы на литературном поприще; но ни как репортер «Эры», ни как драматург он не смог преуспеть больше, чем в иных областях. Теперь, однако, ему верилось, что наконец-то он нащупал свою великую тему — жизнь беднейших слоев. Он часто вспоминал слова издателя Филипа Кэрю о том, что «грандиозная книга о Лондоне еще не написана». Так почему не попытаться избыть свои личные невзгоды, рассказав о страданиях множества людей?

Справа от него Карл Маркс делил внимание между «In Memoriam» Теннисона и «Холодным домом» Чарльза Диккенса; может показаться, что это было странное чтение для немецкого философа, но к концу жизни он стал возвращаться к предмету своей первой страсти — к поэзии. В юности он жадно поглощал беллетристику и особенно его трогали романы Эжена Сю; весьма характерным для Маркса средством самовыражения была тогда эпическая поэзия. Теперь он вновь вынашивал замысел длинной поэмы; местом ее действия должны были стать беспокойные улицы Лаймхауса, а назвать ее он думал «Тайные печали Лондона». Вот почему он многие часы проводил в Ист-Энде и немалую часть из них — в обществе своего друга Соломона Вейля.

Джордж Гиссинг, сидевший слева от Джона Кри, отложил «Пэлл-Мэлл ревью» и взялся за книги и брошюры, посвященные математическим машинам. Редактор «Ревью» проявлял необыкновенный интерес к работам Чарльза Бэббиджа, умершего девятью годами раньше, и он заказал честолюбивому молодому автору эссе о жизни и деятельности изобретателя. Нельзя, разумеется, было рассчитывать на то, что Гиссинг сможет разобраться в технических тонкостях; и все же редактор Джон Морли, пришедший в восторг от «Романтизма и преступления» и проникшийся к молодому человеку доверием, надеялся получить от него еще один яркий материал. Морли, помимо прочего, хорошо платил — пять гиней за пять тысяч слов, на такую сумму Гиссинг мог продержаться неделю, если не больше. И он рьяно погрузился в проблемы счетных машин и современного математического анализа.

В момент, о котором идет речь, он просматривал статью Чарльза Бэббиджа об искусственном разуме, а Джон Кри тем временем читал о Роберте Уизерсе. Уизерса, который столярничал в Хокстоне, бедность привела в такое отчаяние, что он уничтожил всю свою семью стамесками и деревянными молотами-киянками, которые употреблял в своем убогом ремесле. Кри не остался равнодушен к картинам нищеты и недоедания, но он, вероятно, не смог бы признаться себе в том, что, читая о подобной беде, он более, чем когда-либо, чувствовал себя живым. Карл Маркс в это время делал для себя заметки. Он читал окончание «Холодного дома» и дошел до того места, когда Ричард Карстон спрашивает на смертном одре: «Все это был мучительный сон?» Маркс, по-видимому, нашел эти слова интересными и написал на листочке линованной бумаги: «Все это был мучительный сон». А Джордж Гиссинг в этот самый миг переписывал себе в тетрадь следующий любопытный пассаж: «Поиски машинного разума даже весьма консервативно мыслящим людям должны дать пищу для свежих умозаключений: подумать только, какие сложные вычисления можно будет выполнить в области статистических исследований, где мы, вполне вероятно, сумеем сделать много весьма интересных выводов». Карл Маркс пробежал глазами страницу «Холодного дома» — в его возрасте он быстро уставал от беллетристики — и прочел о том, как «бедная помешанная мисс Флайт пришла ко мне вся в слезах и сказала, что выпустила на волю своих птичек».

Так осенним днем сидели эти три человека бок о бок, столь же недоступные друг для друга, как если бы они были заперты в отдельных каморках. Они с головой ушли в свои книги, а между тем шелесты и шорохи всех посетителей читального зала восходили к широкому куполу и рождали шепчущее эхо, подобное отзвукам голосов в лондонском тумане.

## Глава 12

**Мистер Грейторекс.** Вы утверждаете, что ваш муж был мрачным человеком. Но его образ жизни как будто отличался размеренностью?

**Элизабет Кри.** Да, сэр. Он всякий раз возвращался из читального зала в шесть часов и никогда не опаздывал к ужину.

**Мистер Грейторекс.** Не замечали ли вы каких-либо перемен в его поведении в последние месяцы перед смертью?

**Элизабет Кри.** Нет. Вернувшись из читального зала, он шел в свой кабинет разбирать бумаги. В полвосьмого я звала его вниз.

**Мистер Грейторекс.** Кто вам готовил?

**Элизабет Кри.** Эвлин. Эвлин Мортимер.

**Мистер Грейторекс.** А подавал кто?

**Элизабет Кри.** Она же. Она хорошая горничная, все делала как надо.

**Мистер Грейторекс.** Не маловато ли было одной служанки для такого дома, как ваш?

**Элизабет Кри.** Мы не хотели обижать Эвлин. У нее несколько ревнивый характер.

**Мистер Грейторекс.** Теперь, пожалуйста, расскажите, чем вы занимались после ужина.

**Элизабет Кри.** В последние годы мой муж каждый вечер выпивал бутылку портвейна — и как будто без вреда для здоровья. Он говорил, что это его успокаивает. Я часто играла на пианино и пела ему. Он любил слушать старые песенки из репертуара мюзик-холлов и иногда мне подпевал. У него был приличный тенор, сэр, — Эвлин может подтвердить.

**Мистер Грейторекс.** Вы ведь когда-то сами выступали в мюзик-холле?

**Элизабет Кри.** Я... Да, сэр. Я вышла на сцену уже сиротой.

## Глава 13

Лихорадка утащила-таки мою мать в преисподнюю. Я выскочила на улицу и купила кувшин джина; им я облила ей рот и все лицо, чтобы перебить запах. Молодой врач выбралил меня за это, но я сказала ему, что труп есть труп, как на него ни смотри. Ее зарыли на кладбище для неимущих около Сент-Джорджс-сёркес; один рыбак дал мне парус завернуть ее тело, паромщики сколотили для нее деревянный ящик из старых корабельных досок. А в какие моря поплывет это новое судно — откуда им знать? Я бы охотно пособила им в работе, но я все еще была для них Малюткой Лиззи или Лиззи с Болотной. Я с усмешкой вспомнила, какими прозваниями награждала меня мать, когда каялась своему богу в грехах, одним из которых была я. Она и «памяткой дьявола» меня честила, и «адским отродьем», и «проклятием ее жизни».

После похорон, когда мы пришли в таверну «Геркулес», они собрали для меня десять шиллингов, и я немножко ради них поплакала. За мной никогда дело не станет. Я ушла от них, как только смогла, и отнесла деньги к себе на Питер-стрит, где спрятала их под половицей, но сначала отделила три шиллинга и положила на стол. Ну и поплясала же я среди содранных со стен библейских страниц! А утомившись плясать, сыграла сценку, которую видела на Крейвен-стрит. Я была Дэном Лино, насмехающимся над своей гадкой дочкой; потом взяла перепачканную подушку моей матери, покачала ее, поцеловала и швырнула на пол. Надо было торопиться, чтобы не опоздать на представление, и, недолго думая, я сдернула с крючка на двери старое материнское пальто. Я знала, что оно мне впору, потому что прикладывала его к себе, когда мать еще лежала и умирала.

Театр на Крейвен-стрит был так ярко освещен, что мне показалось, будто я вижу его во сне; вокруг меня сияли газовые фонари, и среди этого света материнское пальто выглядело таким драным и поношенным, что я с удовольствием обменяла бы его на любой, пусть даже самый чудной сценический костюм. Перед театром стояла небольшая толпа и разглядывала афишу — главным образом,

цветочницы, зазывалы, уличные торговцы и тому подобная публика; один мальчик читал афишу вслух своему отцу.

— Дженни Хилл, — услышала я, подойдя. — «Летучая искра». А дальше этот Томми Фарр — «Посторонись перед дядюшкой».

— Он танцует со скакалкой. — Его отец в необычайном довольстве только покачивал головой. — А потом она превращается в удавку палача. А есть тут этот маленький в деревянных башмаках?

Он был там, на этот раз — «юный Лино, мал, да удал, уморителен на миллион ладов! Каждая песня — обхохочешься! Каждая песня — новый типаж!». Остановиться на пути к этим огням мне было бы не легче, чем остановить собственное дыхание. Все мысли о Ламбете, Болотной улице и мертвой матери вылетели у меня из головы, когда я купила билет и поднялась в раек. Там воистину был мой рай, там меня окружали ангелы в золотых нимбах.

Первыми вышли Плясуньи-Трясуньи с обычным своим шарканьем, и некоторые из партера стали кидать в них очистки. Потом комик «лев», изображая напыщенного денди, пропел пару песенок; потом были Нервишки, разговорный дуэт, — эти заслужили кое-какие «бисы» и вызовы, — и, наконец, Дэн Лино. Он был одет девушкой-молочницей — все как полагается, передничек, чепец с голубыми оборками, и он прошел по сцене танцующим шагом с большим бидоном в каждой руке. Снова позади него открылось это восхитительное изображение Стрэнда, и на этот раз я сумела разглядеть даже надписи на вывесках и картинки в витринах — все выглядело тут намного более ярким, чем было в действительности. В прежней моей жизни окружающее было словно окутано сумраком, теперь же все прояснилось и засверкало. Заискрилась даже пыль на досках сцены, а нарисованная зеленая дверь в доме на углу Вильерс-стрит так вдруг поманила меня, что захотелось постучать и войти. Дэн Лино поставил свои бидоны и запел:

В нашем девятнадцатом столетье  
Магазины — просто загляденье.  
Все тут есть — одно, другое, третье,  
Мармелад, конфеты и печенье.

Он вышел на авансцену и начал улыбаться и жеманиться, то выставляя вперед изящную ножку, то пряча ее, то приближаясь к зрителям, то вновь удаляясь, — и все с таким печальным, жалким, обиженным лицом, что невозможно было удержаться от смеха.

— Нынче утром подходит дама и спрашивает: «Как сегодня идет молоко?» Я отвечаю: «Идет прытко, мили две уже отмахало. А купите, на огонь поставите — и побежит».

Он поговорил еще в таком же роде, а потом, когда заиграл оркестрик, стал раскачиваться из стороны в сторону и петь: «Сейчас принесу молока для двойняшек». Следующий его выход был в костюме Нельсона, вслед за этим — в образе индианки; зал так и грохнул, когда он, потеряв друг о друга две деревяшки, нечаянно поджег свою косу.

— Прошу секундочку переодеться, — сказал он в лад общему веселью, хотя мы прекрасно знали, что все им подстроено от начала до конца. — Самую махонькую секундочку. — И потом он вышел опять в невообразимой старой шляпе и затянул куплеты на жаргоне кокни.

После смерти матери у меня маковой росинки во рту не было, но я чувствовала себя такой бодрой, такой живой, что могла блаженствовать в райке хоть целую вечность. Представление кончилось, последний медяк упал на сцену, а я все никак не могла подняться с места; наверно, так бы я там и сидела, глядя сверху в «преисподнюю», если бы толпа не подхватила меня и не вынесла на улицу. Это было словно изгнание из чудесного сада или дворца — теперь я видела только запачканные кирпичные стены домов, грязь на узкой улице и тени прохожих под газовыми фонарями на Стрэнде. По бульжной мостовой Крейвен-стрит была рассыпана солома, в поганой луже мокли страницы из журнала. Откуда-то сверху послышался плач — не то женский, не то детский, — но, подняв голову, я смогла различить в ночном небе только смутные силуэты дымовых труб. Везде был мрак, небо сливалось с крышами домов. Всеми силами души я желала снова оказаться в театре.

На углу у реки светил масляный фонарь, рядом собралась кучка людей; я поняла, что тут идет торговля пирогами и прочей снедью, и решила купить колбасы. К тому же вечер был очень холодный, а тут можно было погреться у жаровни. Минуту-две я стояла, переминаясь

на булыжной мостовой, и вдруг подбежал подвыпивший мужчина в ярко-желтом клетчатом костюме.

— Гарри, — сказал он продавцу, — они там уже мрут с голоду без твоих пирогов, будь хорошим мальчиком, подогрей-ка на всех.

Я тут же поняла, что он из театра, и обмерла от восторга перед высшим существом, живущим внутри благословенного сияния; он почувствовал мой взгляд и подмигнул мне.

— Будь хорошей девочкой, — сказал он, — подсоби твоему дядюшке с этими пирогами. Да поаккуратней! Слишком большая роскошь такое ронять, как сказала одна роженица повивальной бабке.

Я двинулась за ним через Крейвен-стрит, взяв часть пирогов; хоть они были очень горячие, руки мои ничего не чувствовали, и я едва сдерживала дрожь, пока мы шли сначала по узкому переулку сбоку от театра, а потом, уже в самом здании, вверх по железным ступеням. Он толкнул дверь, обитую зеленым сукном, и мы вошли в коридор, где пахло пивом и чем-то покрепче. Мои глаза были так широко раскрыты, что я замечала все, вплоть до истертого фиолетового ковра, загнувшегося по углам, и скакалки, которую бросила у стены, должно быть, одна из шаркуний.

— Несу, несу тебе лакомый кусочек, — сказал тот, кто назвался моим дядюшкой, танцовщице, открывшей дверь комнаты на звук его шагов. — Вкусный, горячий, как ты любишь, милая Эмма. Правда, может, чуть маловат.

Она посмотрела на меня с неодобрением и пошла обратно в глубь комнаты.

— Ладно, попробуем, что за ослятина.

Я узнала голос комика «льва», с немалым успехом певшего сегодня на сцене: «Случилось это из-за ломтика бекона». Потом запахнулась другая дверь, и мы вошли в комнату, полную народу; помимо двух больших зеркал у стен там еще были деревянные стулья и табуретки, на которых в беспорядке валялись детали костюмов. Я просто стояла с протянутыми руками, и пироги исчезали. Комик, который пел сегодня: «Мне цельный куш — иль ничего не надо», взял один; Плясуньи-Трясуньи взяли три (этим не мешало подкрепиться — их сегодня от души освистали); Нервишки взяли два. У меня в руках остался один пирог. Предполагалось, наверно, что его съем я, но тут я увидела Дэна Лино, сидящего в углу на табуретке; склонив голову на



одну сторону, он так приветливо и потешно на меня смотрел, что я двинулась прямо к нему. Заговорив, я поразила собственнoй смелости.

— Этот вам, мистер Лино.

— *Мистер* Лино, я не ослышалась? — подала голос одна из Плясуний-Трясуний. — Такой зеленой здесь, в зеленой комнате, самое место.

— Будет, будет, — взялся ее урезонивать мой новоиспеченный «дядюшка». — Почему не оказать обществу маленькую честь, как сказали однажды каннибалы миссионеру?

Дэн Лино пока не произнес ни слова — сидел, жевал свой пирог и не сводил с меня глаз.

— Скажи-ка мне, милая, — обратился ко мне «дядюшка», похлопывая меня по плечу, — кликуха твоя как?

— Не понимаю вас.

— Ну, как зовут?

— Лиззи, сэр. — Я обвела глазами их всех и вдруг почувствовала, что должна войти в образ. — А кличут — Лиззи с Болотной.

Ехидная Плясунья-Трясунья издала еще один хриплый смешок и сделала передо мной реверанс.

— Мое почтение, цветик ты болотный. Или ты приبلудный болотный огонек, Лиззи?

— Будет тебе. Леди и джентльмены, призываю вас к порядку.

Но мой «дядюшка» зря тратил свое красноречие. Миг спустя они и так обо мне позабыли — начали тараторить друг с другом, есть пироги. Потом ко мне подошел Дэн Лино.

— Не позволяй им дурить тебе голову, — сказал он очень доверительным тоном. — Им только волю дай. Правда, Томми? — Мой «дядюшка» все еще топтался рядом, и Дэн Лино, прежде чем представить его мне, бросил на него строгий взгляд. — Позволь рекомендовать тебе Томми Фарра. Агент, автор, актер, комический акробат и менеджер. — «Дядюшка» отвесил мне поклон. — Он башли раздает.

— Милая девушка не понимает тебя, Дэн. Видишь ли, голубка моя, он имеет в виду бакшиш.

— Прошу прощения?..

— Ну, навар. Юсы. Деньги, короче.

— Кстати о деньгах, ведь мы тебе кой-чего должны. — Дэн Лино вынул из кармана шиллинг. — Как мог бы выразиться Томми, ты протянула нам руку помощи. — Когда я брала монету, он посмотрел на мои ладони — такие натруженные, такие исколотые, такие большие, что в тот же миг его, видно, одолела жалость. — Завтра вечером мы в «Вашингтоне», — сказал он очень мягким голосом, совсем непохожим на его выкрики со сцены. — Там и для тебя, думаю, найдется работенка. Если ты согласна побисировать.

Я узнала реплику из представления и засмеялась.

— А где «Вашингтон», сэр?

— В Баттерси. В ближайшей близости от твоей резиденции. Кстати, если ты не против, я бы предпочел, чтобы ты называла меня Дэном.

Чуть погодя я вышла на улицу и двинулась сквозь темноту. О том, чтобы сегодня спать, не могло быть и речи — какой сон, когда я и без того внутри сновидения. Я плыла вдоль цепочки газовых фонарей и тихо-тихо напевала слышанное мною сегодня в театре на Крейвен-стрит:

Маменька моя, иди со мною рядом,  
Бьют часы на башне один раз.

Как дальше, я не помнила, но и этого было достаточно, чтобы вообразить себя танцующей на сцене, позади которой раскинулась восхитительная картина Лондона.

## Глава 14

*9 сентября 1880 года.*

Жена пела мне после ужина. Старые куплеты из репертуара мюзик-холлов прозвучали из ее уст, как всегда, живо и весело, и когда она кончила, прежние дни вспомнились так ясно, что мы оба всплакнули.

*10 сентября 1880 года.*

Очень холодно и туманно для этого времени года. Провел весь день в читальном зале, где сделал обширные записи по поводу «Лондонских тружеников и бедняков» Мэйхью. Вот ведь моралист! После моей первой вылазки я исправно читал газеты, хотя прекрасно понимал, что смерть такой мелкой пташки не вызовет в мире большого переполоха. Наконец наткнулся на заметочку в «Морнинг геральд» — «Самоубийство молодой женщины», — и мне сразу стало ясно, что случай замяли. Дамы ее профессии не желали падения спроса на их услуги в том квартале, а моя маленькая выходка могла отпугнуть иных сладострастников. Все же должен признать, что был несколько унижен — такая работа пропала зря, — и в ответ на подобное невнимание я дал себе зарок, что в другой раз оставлю след, который заметят все. Уж по этой части я не потерплю пренебрежения.

Когда вечером я вышел из читального зала и встал на стоянке кебов на Грейт-Расселл-стрит, туман был такой густой, что я отчаялся дожждаться экипажа. Потом увидел две плывущие издали фары, замахал саквояжем и закричал: «Лаймхаус! Лаймхаус!» — но мой голос не мог пробиться сквозь толщу тумана. Когда кеб подъехал ближе, кто-то сзади тронул мое плечо. Я быстро обернулся — мелькнула мысль о грабителях, — но это был старый бородатый джентльмен, который иногда сидит рядом со мной в читальном зале.

— Нам как будто в одном направлении, — сказал он. — А кеб только один. Сядем вместе?

Он говорил с иностранным акцентом и по наружности был похож на еврея; испытывая глубокое почтение к их познаниям, я мигом согласился. Мне показалось восхитительным провести время в обществе такого мудреца, прежде чем перейти к моим собственным

изысканиям. Кеб остановился, и мы влезли внутрь; пахло в нем не лучше, чем в двуколке, где под сиденьем возят собак, но в такую погоду я согласился бы сесть даже в тюремную карету.

— Этакый туман мне и припомнить трудно, — сказал я попутчику. — Точно он идет прямо из ада.

— Из фабричных топок и горнов, сэр. Еще двадцать лет назад подобного и в помине не было. Теперь весь потребляемый нами уголь в буквальном смысле обволакивает нас.

Голос его звучал резко, что я нашел необычным для человека его возраста.

— Вы из Германии, сэр? — спросил я.

— Я родился в Пруссии. — Он все вглядывался в туман, пока мы медленно двигались по Теобальдс-роуд. — Но живу в этом городе уже больше тридцати лет.

У него был благородный лоб, и когда мы проезжали мимо очередного фонаря, я увидел, как яростно блестят его глаза. Именно в этот момент у меня зародилась новая удивительная мысль. Зачем расточать талант на недостойных, когда в моей безраздельной власти находится великолепный ученый? Подумать только, как славно будет лишить жизни человека столь выдающегося, а потом в экзальтации от содеянного отделить верхнюю часть его черепа и исследовать мозг, еще теплый от мыслительной работы.

— Я видел вас в читальном зале, — промолвил я наконец.

— Да. Всегда есть чему учиться. Книг непечатый край. — Он опять умолк, и мне стало ясно, что он не мастер вести общие беседы. И все же ему, видно, хотелось в такой вечер поговорить с незнакомым человеком. — Я регулярно посещал музей еще до того, как выстроили этот читальный зал. Мы все так привыкли к старой библиотеке, что казалось, не сможем приспособиться к новому помещению. Ничего, выжили все-таки.

— Бы, значит, с тех пор еще завсегдатай?

— Ни дня не пропускал. Я тогда жил на Дин-стрит и каждое утро приходил в библиотеку пешком. В моем доме царила болезнь, и музей стал моим прибежищем.

— Печально слышать.

— Что делать, такова наша общая судьба.

Мы выехали на Сити-роуд, чтобы потом свернуть на юг, и в ярких огнях, освещавших водевильный театр «Сэмон», я постарался осмотреть голову попутчика с чисто научной точки зрения. Если только разmozжить ее с одного удара! Может быть, тогда вся мудрость, накопленная им за много лет, примет, исходя наружу, некую зримую, осязаемую форму?

— Так вы фаталист? — спросил я.

— Нет. Напротив, я с нетерпением жду перемен.

Я отвернулся и посмотрел в туман, думая про себя, что перемена может наступить раньше, чем он предполагает.

— Подходящая погодка для убийства, — сказал я.

— По моему убеждению, сэр, буржуазия уделяет убийствам слишком много внимания.

— Да? Почему?

— Выпячивая страдания одной жертвы, мы забываем о страданиях масс. Приписывая вину одному злодею, мы отрицаем вину общества.

— Не могу уследить за вашей мыслью.

— Что такое одно убийство в сравнении с историческим процессом? Между тем, открывая газету, мы, кроме убийств, ничего не видим.

— Вы, безусловно, представляете вопрос в необычном свете.

— В свете мировой истории. *Weltgeschichte*.

Мы приближались к цели нашей поездки: я уже видел в клубах тумана высокий шпиль церкви Св. Анны в Лаймхаусе. Весьма удачно, что прусский философ живет на самом театре моих действий. Уничтожить его здесь, среди шлюх, — вот будет комедия!

— Позвольте мне доставить вас домой, — сказал я. — В такой отвратительный вечер лучше не ходить далеко пешком.

— Я еду на Скофилд-стрит. Это здесь, поблизости от Рэтклиф-хайвей.

— Я хорошо знаю эту улицу.

Помимо прочего она, как я помнил, была в еврейском квартале, что усилило мой восторг. Убить еврея — в этом чувствовался чудесный привкус кровавой сценической драмы, хотя, как я мог убедиться в прошлом, часто мы лишь проецируем на сцену в увеличенном виде то, что разыгрывается в наших сердцах. Кстати, об

этих органах: мне очень хотелось увидеть, что за сердце у старика с такими блестящими глазами. Хотелось взять это сердце в руки, понежить. И, может быть, сделать его частью себя? Как там говорится у этого незаслуженно обойденного вниманием поэта — у Роберта Браунинга?

Ах, если б я был в двух обличьях,  
Я и не я, — тогда б весь мир был наш!.. [7]

Возница постучал по окошку и спросил, куда дальше; он с большой неохотой повез нас в этот район, известный своими притонами и злачными местами, и теперь хотел ссадить нас побыстрее. «Скофилд-стрит! — крикнул я ему. — Первый налево, потом направо». Я так хорошо знаю Лаймхаус, что он стал моим Полем сорока следов. Это был печально известный пустырь позади Монтегю-хауса, так обильно политый кровью, что там не хотела расти трава, [8] и, как я рассказывал ученому из Германии по дороге к его дому, этот роковой участок земли по любопытному совпадению находится прямо под читальным залом Британского музея. Он не придал этому факту особенного значения и стал готовиться к выходу. Что ж, дружище, думал я, глядя, как он запахивает пальто и кутает горло шарфом, скоро ты на себе узнаешь, какое тонкое единство могут образовать книги и кровь. Мы остановились на темной стороне улицы, я сунул вознице в руку полкроны и пошел провожать моего спутника к двери дома номер семь. Я хотел получше запомнить эту дверь, чтобы найти ее в надлежащий час. Мы попрощались, я повернулся и пошел к реке. Был отлив, и стояла такая вонь, что даже туман казался не чем иным, как гнилостным, фекальным испарением. Но веселые девицы, как всегда, искали своего случая, а я искал такую, чтобы стояла поодаль от других. Я пересекал Лаймхаус-рич в направлении матросской миссии и вдруг увидел впереди фигуру — мужскую, женскую или еще какую, я не мог пока разобрать; но я прижал к груди мой саквояж и поспешил следом. Это оказалась женщина; она дрожала от холода и сырости, но смотрела на меня достаточно многообещающе.

— Как тебя зовут, голубка?

— Джейн.

— Ну, Джейн, куда мы отсюда?

— У меня есть комната в том доме, сэр, — вон, где желтая дверь.

— Все одинаково желтое в этом тумане, Джейн. Так что показывай дорогу. — Я взял ее под руку и внезапно повернул лицом к реке. — А не совершить ли нам моцион прежде, чем улечься? Интересно, разглядим ли мы отсюда суррейский берег? — Разглядеть что-либо конечно же было мудрено, и когда мы дошли до старой каменной лестницы, нас уже объяла тишина столь глубокая, что она казалась материальной эманацией тумана. — Как тебе нравится, Джейн?

— Я по-всякому могу, сэр. Как вам будет угодно.

— Скажешь, когда хватит?

— Вам решать, сэр.

— Давай маленько спустимся. Там внизу, видишь ли, мой дом. — Ей не очень-то хотелось идти, но я стал ее уговаривать. — У меня тут в саквояжке кое-что для тебя припасено. Слыхала про новые предохранительные чехольчики? Вот, смотри.

Открыв саквояж, я внезапным быстрым движением выхватил нож и перерезал ей горло от уха до уха. Начало, скажу без ложной скромности, было впечатляющее; она изумленно отпрянула, прислонилась к стене, вздохнула, и весь ее облик говорил, что она хочет еще, поэтому я, так сказать, углубляя впечатление, сделал еще несколько хороших надрезов. Затем, скрытый от глаз туманом, я сотворил такое зрелище, что никто, придя сюда утром, не останется равнодушным. Первым делом голова рассталась с туловищем, после этого матка и желудочно-кишечный тракт образовали вместе великолепный орнамент. Двести лет назад на этом самом берегу злодеев приковывали цепями и оставляли гнить под действием приливов — и вот теперь мне, любителю лондонской старины, представляется редкая возможность поиграть в забытую игру. Что за удивительное существо человек, столь рафинированное в своих возможностях, столь протяженное в своих внутренностях! Я водрузил ее голову на верхнюю ступеньку, чтобы она выглядела как голова суфлерши, на которую смотришь снизу, из театрального партера, и должен признать, что я заплодировал собственной работе. Но вот

послышался шум из-за кулис, и я быстро двинулся вдоль реки, а потом вышел через Ладгейт.



## Глава 15

Джон Кри ошибся, сделав вывод, что ученый из Германии живет на Скофилд-стрит. В тот туманный вечер в начале сентября Карл Маркс просто навещал друга. Раз в неделю он бывал у Соломона Вейля и беседовал с ним на философские темы. Они познакомились в читальном зале Британского музея полтора года назад, когда оказались там рядом; Маркс увидел, что сосед изучает «Последовательное толкование Каббалы» Фреера, и мгновенно вспомнил, что сам читал эту книгу, будучи студентом Боннского университета. Они заговорили друг с другом сразу по-немецки, уловив, вероятно, какие-то черты внешности (Соломон Вейль родился в Гамбурге, причем, по случайному совпадению, в том же году и месяце, что и Маркс), и очень скоро увидели, что испытывают одинаковый интерес к теоретическим изысканиям и тонким ученым дискуссиям. Что верно то верно: в своих трудах, особенно ранних, Карл Маркс отвергал то, что называл выродившимся иудаизмом. В одной из своих первых работ («К еврейскому вопросу») он заключил, что «еврей стал невозможен» (*ist der Jude unmöglich geworden*). Однако, ведя свой род от многих поколений раввинов, Маркс глубоко впитал лексику и мыслительные традиции иудаизма. И вот под конец жизни внезапно брошенного взгляда на каббалистический комментарий оказалось достаточно, чтобы ввергнуть его в поток оживленнейшего разговора по-немецки с Соломоном Вейлем и породить в нем почти необъяснимое тяготение к этому мыслителю, изучающему одну из книг его юности. Большую часть жизни Маркс неустанно обличал религию во всех ее проявлениях, но теперь под огромным куполом читального зала он был странно взволнован и растроган. В тот вечер они вышли из музея рука об руку и уговорились встретиться на следующий день. Соломон Вейль, надо сказать, был несколько озадачен. Он слышал о Марксе от других эмигрантов из Германии и был удивлен, обнаружив, что этот атеист и революционер столь эрудирован и столь обаятелен в общении. Возможно, он был даже чересчур учтив; но Соломон Вейль справедливо рассудил, что Маркс хочет смягчить впечатление от своих прежних яростных нападок на веру отцов.

Во время их второго разговора, произошедшего в ресторанчике близ Коптик-стрит, Соломон Вейль упомянул о том, что он собрал большую библиотеку каббалистической и эзотерической литературы; у него дома хранилось около четырехсот томов, и Маркс тут же попросил разрешения с ними ознакомиться. Вот как возникла традиция их еженедельных поздних трапез в Лаймхаусе, когда двое мужчин обменивались идеями и предположениями, словно они опять были молодыми учеными. Библиотека у Вейля была замечательная: многие из книг его собрания раньше принадлежали шевалье д'Эону, знаменитому французскому транссексуалу, жившему в Лондоне во второй половине восемнадцатого века. Шевалье особенно интересовали каббалистические предания, что было связано с его верой в исходный божественный гермафродитизм, в котором берут начало оба пола. Д'Эон завещал свою коллекцию художнику и масону Уильяму Косуэю, а тот, в свою очередь, оставил ее одному граверу, вместе с которым они совершали некоторые оккультные эксперименты. Гравер затем принял иудаизм и в благодарность за обретенную веру оставил библиотеку Соломону Вейлю. Так старые книги оказались на полках в его комнатах в доме номер семь по Скофилд-стрит наряду с приобретениями самого Вейля, как, например, «Второе предупреждение миру от Пророческого Духа» и «Знамена времени, или Глас к Вавилону, величайшему граду мира, и к евреям в особенности». Вейль также купил собрание материалов, связанных с жизнью и трудами Ричарда Бразерса, британского визионера и приверженца иудейской веры, полагавшего, что английская нация представляет собою одно из исчезнувших колен Израиля. Была в его библиотеке и одна не столь предсказуемая составная часть: страстно увлекаясь лондонскими простонародными театрами, он купил в типографии на Энделл-стрит, специализировавшейся на новейших песенках из мюзик-холлов, коллекцию нотных изданий на отдельных листах.

В тот туманный сентябрьский вечер он как раз проглядывал текст песни «Что меня изумляет», которая стала знаменитой в исполнении Бесси Бонхилл — актрисы, изображавшей на сцене мужчину, — и тут на лестнице послышались шаги Карла Маркса. Они крепко, на английский манер, пожали друг другу руки, после чего Маркс извинился за опоздание; впрочем, в такой вечер немудрено... В

разговоре они употребляли удобную обоим смесь немецкого и английского, временами нюансировки ради вставляя латинские и еврейские слова; поэтому в настоящем изложении некоторые трудноуловимые тонкости их беседы неизбежно будут утеряны. Их трапеза была незамысловата: холодное мясо, сыр, хлеб и пиво в бутылках, — и за едой Маркс говорил о том, что у него не клеится недавно начатая работа над длинной эпической поэмой о Лаймхаусе. Не он ли в юные годы сочинял исключительно стихи? Студентом он даже написал первый акт стихотворной драмы.

— Как она называлась?

— «Уланем».

— Вы сочиняли по-немецки?

— Естественно.

— Но имя не немецкое. Оно созвучно словам *Элохим* и *Хуле*, которые обозначают различные состояния падшего мира.

— В ту пору это мне не приходило в голову. Но не кажется ли вам, что начни только искать скрытые соответствия и знаки...

— Вот именно. Ведь они повсюду. Даже тут, в Лаймхаусе, можно узреть свидетельства незримого мира.

— Простите великодушно, но меня все же больше занимает зримое и материальное. — Маркс подошел к окну и взгляделся в желтый туман. — Я знаю, что для вас это все *клиптон*, но ведь именно в этих твердых, сухих скорлупах материи мы принуждены обитать. — Он увидел спешащую по Скофилд-стрит женщину, и что-то в ее нервной торопливости встревожило его. — Даже вы, — сказал он, — даже вы привязаны к низшему миру. Ведь у вас есть кошка.

Соломон Вейль ответил смехом на внезапный метафизический перескок своего друга.

— Она живет в другом времени, не в моем.

— Так у нее что, душа имеется?

— Конечно. А когда живешь, как я, главным образом в прошлом и будущем, неплохо иметь рядом существо, всецело погруженное в настоящее. Это взбадривает. Ну иди же ко мне, Джессика. — Кошка, дотоле лежавшая клубком среди разбросанных книг и бумаг, лениво поднялась и подошла к Вейлю. — К тому же это производит впечатление на соседей. Они думают, что я маг.

— В определенном смысле они правы. — Маркс вновь подошел к камину и сел рядом с Вейлем. — Впрочем, как учит нас Бёме, противоположность есть источник всякой дружбы. Но скажите мне, что вы сегодня читали?

— Сказать, так вы не поверите.

— Наверно, какой-нибудь таинственный свиток, много лет пролежавший под спудом?

— Нет. Я читал тексты песен из мюзик-холлов. Иногда я слышу, как их расппевают на улицах, и они напоминают мне древние песни наших предков. Знаете эту: «Моя тень — мой единственный друг»? Или: «Эти тряпки когда-то были новым нарядом»? Иные — просто прелесть. Песни обездоленных. Песни тоски.

— Охотно верю.

— Но они также полны необычайного веселья. Поглядите-ка.

На одном из листов была фотография Дэна Лино в роли «вдовы Туанкай, дамы старого закала». На нем был пышный темный курчавый парик и струящееся платье до щиколоток, а в руках, туго обтянутых перчатками, он держал огромное перо. Выражение лица было надменное и в то же время жалкое; высоко вздернутые брови, растянутый рот и большие темные глаза делали это лицо таким смешным и таким отчаянным, что Маркс, откладывая лист, нахмурился. Соломон Вейль вынул из стопки еще одну фотографию Лино с текстом и нотами песенки, озаглавленной: «Модная мисс — зонтик обвис», где он был наряжен Сестрицей Анной из «Синей Бороды».

— Он — то, что называют гвоздем программы, — объяснил Вейль, аккуратно кладя лист на место.

— Да. И этот гвоздь меня ранит. Тут *Шехина*.<sup>[9]</sup>

— Вы так думаете? Нет. Я не вижу тут женского начала. Скорее уж единство женского и мужского. Адам Кадмон, универсальный человек.<sup>[10]</sup>

— Я преклоняюсь перед вашей мудростью, Соломон: вы находите каббалистический смысл даже в номерах мюзик-холла. Тогда газовые светильники на галерке можно отождествить с *сефирот*.<sup>[11]</sup>

— Но задумайтесь: почему это им так по душе? Так свято для них, что верхний ярус они называют райком, а партер — преисподней. Я даже обнаружил, совершенно случайно, что многие из этих зальчиков

и театриков раньше были церквами или часовнями. Если уж говорить о скрытых связях — а вы ведь первый начали.

Так вели свою позднюю беседу Карл Маркс и Соломон Вейль, и пока Джейн Квиг убивали и уродовали, двое ученых обсуждали то, что Вейль называл материальной оболочкой мира.

— Она принимает ту форму, какую нам заблагорассудится ей придать. В этом отношении она похожа на голема. Слыхали вы про такое?

— Смутно что-то помнится, но я так давно слышал эту легенду...

Соломон Вейль уже стоял у книжного шкафа и снимал с полки «Познание священного» Хартлиба.

— Наши предки представляли себе голема неким гомункулусом, материальным существом, сотворенным посредством магии, куском красной глины, обретшим жизнь в лаборатории чудотворца. Это страшное создание, и, согласно древней легенде, оно поддерживает свою жизнь пожирая дух или душу человека. — Он открыл страницу, где давалось описание этого существа и была приведена большая гравюра, изображавшая куклу, или марионетку, с дырками вместо глаз и рта. Он дал книгу Марксу и сел на свое место. — Само собой, мы не должны верить в големов буквально. Разумеется, нет. Поэтому я трактую их аллегорически и считаю голема символом *клиппот*, этой скорлупы пришедшей в упадок материи. Таким образом, что мы делаем? Мы даем ему жизнь по нашему образу и подобию. Мы его формируем, вдывая в него наш собственный дух. И точно так же, согласитесь, нужно понимать весь зримый мир — как голема гигантского размера. Вы знаете Герберта, гардеробщика в библиотеке?

— Знаю, конечно.

— Герберт не отличается богатым воображением. В этом, надеюсь, вы со мной согласны?

— Оно у него разыгрывается лишь в предвкушении чаевых.

— Воистину он понимает только пальто и зонтики. Но вчера наш с вами друг рассказал мне любопытную историю. Как-то во второй половине дня они с женой гуляли по Саутуарк-хай-стрит — совершали моцион, так он выразился, — и дошли до того места, где чуть поодаль от дороги стоит старая богадельня. Случайно Герберт и его жена бросают взгляд в ту сторону, и оба видят — в течение какого-то мига,

конечно, — согбенную фигуру в плаще с капюшоном. Показалась и пропала.

— И как вы объясните рассказ Герберта?

— Фигура действительно там была. Это не плод их воображения. Они не смогли бы вообразить существо, столь подходящее к средневековому строению.

— Итак, вы, Соломон Вейль, утверждаете, что это был призрак?

— Отнюдь нет. Мы с вами верим в призраков не больше, чем в големов. Все куда интереснее.

— Теперь, как завзятый талмудист, вы подбрасываете парадокс.

— Мир как таковой принял на миг эту форму, повинуюсь человеческим ожиданиям. Он создал эту фигуру точно так же, как создает для нас звезды, деревья, камни. Он знает, в чем мы нуждаемся, чего ждем, о чем мечтаем, и творит это для нас. Вы меня понимаете?

— Нет. Не понимаю. — Пока они говорили, туман начал рассеиваться, и Маркс встал со своего кресла у камина. — Как поздно уже, — сказал он, вновь подходя к окну. — Даже туман, похоже, решил улечься.

Они обменялись рукопожатиями и попрощались друг с другом по-немецки — в последний раз на этом свете. Застегивая пальто, Маркс вышел на улицу и стал озираться в тщетных поисках кеба; мимо прошли два-три обитателя ближних домов, которые потом вспомнили низкорослого джентльмена иностранного вида с пышной нестриженной бородой.

## Глава 16

**Мистер Листер.** Итак, Элизабет. Могу я называть вас Элизабет?

**Элизабет Кри.** Я знаю вас как моего защитника, сэр.

**Мистер Листер.** Скажите, Элизабет, была ли какая-нибудь причина, по которой вы могли убить вашего мужа?

**Элизабет Кри.** Нет, сэр. Джон был мне хорошим мужем.

**Мистер Листер.** Бил он вас или замахивался хотя бы?

**Элизабет Кри.** Нет, сэр. Он всегда был со мной ласков.

**Мистер Листер.** А в денежном отношении вы разве не выигрываете от его смерти? Растолкните-ка это нам.

**Элизабет Кри.** Жизнь его не была застрахована, если вы это имеете в виду. Мы получали доход от железнодорожных акций, которые ему отец оставил в наследство. Было также галантерейное дело, но мы его продали.

**Мистер Листер.** Он был верным мужем?

**Элизабет Кри.** О да, верным и любящим.

**Мистер Листер.** Глядя на вас, легко в это поверить.

**Элизабет Кри.** Прошу прощения, сэр? Вы о чем-то еще хотите от меня узнать?

**Мистер Листер.** Сделайте мне одолжение, Элизабет. Я прошу вас рассказать суду, как вы познакомились с вашим будущим мужем.

## Глава 17

Дэн Лино не обманул: я без труда нашла «Вашингтон» поблизости от старого парка Креморн-гарденс. Ошибиться было невозможно, потому что стены здания были разрисованы изображениями актеров, клоунов и акробатов в полный рост, и я представила себя среди этих фигур — как я фланирую по фреске в синем платье и с желтым зонтиком, напевая мою собственную, особенную песню, за которую весь мир будет меня любить. Но что это будет за песня?

— Ты станешь Дивой Годивой, — сказал голос у меня за спиной. — Девчонкой, которую отправили в Ковентри. — Это оказался мой «дядюшка» Томми Фарр, на котором теперь не было шикарного клетчатого костюма, в прошлый раз произведшего на меня такое впечатление. На нем было щегольское черное пальто с меховой опушкой и цилиндр. Обратив, должно быть, внимание на мой замороженный вид, он слегка приподнял шляпу и подмигнул мне. — В «Вашингтоне», — сказал он, — каждый должен быть хоть чуточку артистом. А это довольно хитрая штука. По-английски читаешь, дорогуша?

— Да, сэр. Прямо как здесь родилась.

Грамоте научила меня мать с ее бесконечными Иеремиями, Иовами и Исаиями, и читала я бегло; быстро устав от библейской бессмыслицы, я перешла на журнал «Женский мир», который мне давала соседка.

Дядюшка явно оценил мою шутку и потрепал меня по плечу.

— Тогда прочти-ка вот это.

На стене позади меня висела афиша; я повернулась к ней и заговорила твердым, ясным голосом:

— «В этом несравненном заведении...»

— Не слышу заглавных букв, милая моя. Ну-ка, давай с заглавными.

— «В этом Несравненном Заведении в понедельник двадцать девятого числа выступит Мисс Селия Дей — „Та, Кому Пылкости Не Занимать“. Пожиная плоды успеха своей новой песни „Псу Пожарной Команды — Ура!“, она исполнит этот Прославленный Номер при



Непосредственном Участии не кого иного, как Комика „Льва“, Сверкающего Белками Глаз».

— Это все я сочинил, — сказал Дядюшка. — В самом что ни на есть наилучшем стиле. Чем я хуже Гамлета? Извиняюсь, я, наверно, имел в виду Шекспира. — Мне вдруг показалось, что он сейчас расплачется, и я не на шутку встревожилась. — Бедняжка Селия, я ее хорошо знаю. — Он вздохнул и приподнял шляпу. — Она из тех еще. Не надо бы ей петь эту пошлятину. — Его настроение внезапно переменялось. — А скажи-ка мне, милая, что там в самом низу написано?

— «Сегодня Вечером. Бенефис в пользу Филантропического Общества „Друзья в Нужде“».

— Это мы и есть, к твоему сведению. Мы — друзья в нужде. И мы настоящие филантропы, если ты понимаешь, что это такое. — Он поднял брови, как старомодный Арлекин, и твердо взял меня под руку. — Давай-ка взберемся на сцену.

Мы вошли в «Вашингтон», и уже в вестибюле я почувствовала, что меня окружает настоящее великолепие, — театр на Крейвен-стрит не шел с этим ни в какое сравнение. Столько было зеркал, столько стеклянных люстр, что я невольно вцепилась в руку провожатого. Точно я попала в некий храм света, и я испугалась, что лишусь чувств от этого сияния. «Умница, умница, — сказал он, похлопывая меня по руке. — Шик-блеск, правда?» Мы поднялись на несколько ступенек и оказались прямо на сцене. Она не была еще выметена, и я видела крохотные блестящие, забившиеся в щели между досками. Кто-то оставил здесь три стула и стол, выкрашенные так ярко, что они, казалось, не имели ровно ничего общего с привычной мне мебелью; скорей это были детские игрушки, и я, боясь превратить их в нечто обыденное, подумала, что не смогла бы использовать их по назначению. Вдруг мои ноги оторвались от досок, и я закружилась в воздухе — Дядюшка вращал меня все быстрее, все быстрее, пока с него не слетел цилиндр и не покатился со сцены, и тогда он с размаху посадил меня на раскрашенный стол. Я слова не могла вымолвить, так кружилась голова, и я только глядела в вышину, где, покачиваясь, плыли канаты и занавес.

— Мне надо было почувствовать, сколько ты вешишь, — сказал он, пыхтя и слезая со сцены за цилиндром. — Мало ли, может, со

скалкой будешь танцевать. Кстати, раскрутка тебе на пользу. Кровь кидается в галоп, как сказал один хирург одному жокею.

— Не давай ему себя морочить. — Я посмотрела в зал и, к своему удивлению, увидела стоящего в задних рядах Дэна Лино. — Он жуткий человек, наш Дядюшка, его хлебом не корми, дай поморочить девушку.

— Уж я такой, Дэн. Что ты хочешь, на то и театр.

В присутствии этого юнца Дядюшка заметно смутился, и было совершенно ясно, кто из двоих главный. Все же такого он был маленького росточка — меньше даже, чем мне показалось накануне вечером, — и рот у него был такой широкий, что Дэн выглядел не то марионеткой, не то юным Панчем.

— У нас тут про тебя был разговор вчера вечером, — сказал он, идя по проходу своей бодрой семенящей походкой. — Ты не ангажирована?

— Простите?

— Ну, нигде не занята? Безработная?

— Да, сэр.

— Меня зовут Дэн.

— Да, Дэн.

— Читать умеешь?

— На этот счет я уже поинтересовался, Дэн.

— Я знаю, на какой счет ты интересуешься. — С этого момента Дэн перестал обращать на него внимание и повел со мной разговор в своей быстрой, напористой манере. — Наша суфлерша на днях дала деру с комиком-слэнгстером, и нам нужна скорая помощь по этой части. Поняла? А то как бы нас не поперли со сцены. — Я поняла только, что меня приглашают в труппу; что такое суфлерша, я не имела ни малейшего представления. Дэн Лино, должно быть, увидел на моем лице восторг, и он улыбнулся своей заразительной улыбкой, которую мне потом довелось узнать так хорошо. — Это не одни розы, — сказал он. — Ты вообще будешь на подхвате. С костюмами. С тем, с этим. Рука у тебя хорошая? — Он покраснел, едва произнес эти слова, и потом старался не смотреть на мои большие натруженные ладони. — Я к тому, что ты могла бы нам переписывать тексты. Давай-ка в одну игру сыграем, прямо сейчас. — На нем было пальто чуть не до щиколоток со множеством карманов, и, нашарив в одном из них

блокнотик и карандаш, он подал их мне с изысканным глубоким поклоном. — Я буду всякий вздор нести, — сказал он, — а ты знай записывай.

Он принял сценическую позу: ноги широко расставлены, носки вывернуты наружу, большие пальцы рук засунуты в карманы жилетки; потом сделал движение, словно подкручивая воображаемый ус.

— Знаешь, Дядюшка, кто я такой? Сержант, набираю в армию. На днях вот стою на перекрестке, гляжу — ты идешь в обычном своем виде. — Дядюшка расправил плечи, а Дэн двинулся на него с такой яростью, словно был восьми футов роста. — *Вы* хотите записаться в солдаты?

— Нет. Я омнибуса жду.

— О, Господи! О, Господи! Честное слово! Что за жизнь такая! Поневоле вспомнишь один щекотливейший профессиональный казус. На днях подходит ко мне молодецкого вида парень и говорит: «Начальник, я в солдаты гожусь?» Я отвечаю: «Думаю, да, мой мальчик», — и обхожу его кругом. Замечаю, однако, что я вокруг него, а он вокруг *меня*. Веду его к врачу, а медик и говорит: «Дэн, где ты таких выкапываешь?» Оказалось, у него нет одной руки. Я и не заметил, пока мы с ним ходили вокруг да около. Что за жизнь такая!

Я записывала как могла быстро; кончив, он спрыгнул со сцены, встал на цыпочки и поглядел через мое плечо.

— Умница, — сказал он. — Чисто, как у письмоводителя. Дядюшка, а не споешь ли теперь для Лиззи — просто чтоб видеть, как она успевает?

Тут я поняла, что, помимо прочей работы, должна буду записывать для последующего использования «артикуляцию экспромтом», как Дэн называл сказанное на сцене «с бухты-барахты». Дядюшка в ответ снял цилиндр, перевернул и сел над ним на корточки, как на горшок.

— А ну-ка, — сказал Дэн очень суровым тоном, — без пакостей у меня! Забыл, что здесь девушка? Пой давай или убирайся со сцены. — Я никогда не слышала, чтобы юноша разговаривал так властно; Дядюшка послушно надел цилиндр и, растопырив перед собой руки, принялся петь:

Моей любимой дважды двадцать, она не девочка уже...

— Пишешь, Лиззи?  
Я кивнула.

Имеет опыт брачной жизни — пережила двоих мужей...

Я оказалась смекалистой ученицей и нагнала его, когда он начал повторять припев. Дэн был явно обрадован моей сноровкой.

— Фунта в неделю тебе хватит? — спросил он, забрав у меня блокнотик и положив обратно в карман пальто. Таких денег мы с матерью в глаза не видывали, и я просто не знала, что сказать. — Значит, решено. По пятницам будешь получать конверт в кассе у входа.

— Дэн дельный малый, — сказал Дядюшка. — Он не сосунок, нет.

— Может, и вовсе им не был. А как насчет берлоги, Лиззи? — Он увидел, что я не понимаю. — Ты во дворце обитаешь или в яме какой-нибудь?

Теперь, после такой чудесной перемены, я не хотела возвращаться на Болотную. И я не видела большого вреда в том, чтобы разыграть несчастную сиротку.

— У меня родных совсем не осталось, а домохозяин говорит: либо... переселяйся ко мне, либо убирайся вон.

— Вот уж действительно ни стыда ни совести. Я прямо свирепею, когда такое слышу. — Дэн несколько секунд походил взад-вперед по сцене, потом повернулся ко мне. — У нас есть довольно милая комнатка на улице Нью-кат. Почему бы тебе не собраться да и не переехать?

Это была еще одна великолепная возможность, и я не преминула ею воспользоваться:

— А можно?

— Очень даже можно.

— Я за час управлюсь. У меня очень мало вещей.

— Тогда записывай. Нью-кат, дом десять. Спросишь там Остина.

Итак, все было решено, и я поспешила уйти, пока не оказалось, что происходящее — только сон. Уже у самых дверей я услышала, как Дядюшка со сцены кричит стоящему внизу Дэну:

— Может, мы ее в живую картину определим? Ведь Элспет хочет попробовать на проволоке.

Короткое молчание. Потом голос Дэна:

— Рановато, Дядюшка. Рановато. А там поглядим, может, из нее выйдет разговорная артистка. Сразу ведь не скажешь. Но что-то такое в ней есть.

— Ты прав, как всегда.

— Я не прав, я — лев!

Я со всех ног полетела домой через Баттерси-филдс и, оглядев комнату, почувствовала, что прежней жизни как не бывало. Я вынула из-под половицы оставшиеся деньги и аккуратно положила их на грязную материнскую кровать. У стены стоял старый жестяной сундук, на котором мы с матерью сидели, когда вместе шили; внутри там лежали только ошметки ее религии, рваные молитвенники и тому подобное; с превеликим удовольствием я выкинула все это в окно. Потом перебрала и аккуратно сложила в сундук нашу небогатую одежонку. Я вполне могла нести его на плечах, большой тяжести не было, но я хотела во всем выглядеть элегантно, так что я дотащила его только до Сент-Джорджс-филдс, а там за три пенса наняла кеб до Нью-кат.

Номер десять оказался чистеньким домиком новой постройки, и я подкатила к нему и вышла на тротуар как настоящая принцесса. Возница был кусок костлявого мяса в высоком цилиндре, закрывавшем лысину, однако он очень галантно донес мой сундук до двери. У него были маленькие усики, и, давая ему пенни на чай, я не удержалась от насмешки.

— Вас что, жена ударила? — спросила я. — У вас распухло под носом.

Он поднес руку к губам, и его как ветром сдуло.

Только я постучала в дверь, как сразу в коридоре отозвался громкий женский голос:

— Кто там?

— Новая девушка.

— Как зовут?

— Лиззи. Лиззи с Болотной.

— От Дэна?

— Да. От него.

Дверь открылась, и неожиданно я увидела мужчину в поношенном сюртуке и с большим галстуком-бабочкой — точь-в-точь певец-комик в театре на Крейвен-стрит.

— Ну, милая, — сказал он, — ты выглядишь как внучка из дешевой комедии. Пошли.

Я поняла, что ошиблась насчет женского голоса: из-за двери спрашивал он, но таким высоким, таким льющимя сопрано, что не обознаться было невозможно.

— Я подселю тебя к Дорис, это богиня проволоки. Знаешь ее? — Я покачала головой. — Прелестная женщина. Может вращаться хоть на медной монетке. Мы с ней большие друзья. — По красному лицу и дрожащим рукам я сразу поняла, что он пьяница; ему вряд ли было больше сорока, но было ясно, что долголетия ему не видать. — Я бы взял твой сундук, милая, но у меня слабые сосуды. Потому-то я и ушел со сцены. — Пока мы поднимались по лестнице, он болтал со мной так весело и непринужденно, словно мы знали друг друга много лет. — Теперь я эконо. Поняла? Экономка. Эконом. Мне не нравится «домохозяин». От этого слова несет пивом, трактиром. Вся актерская братия называет меня Остин. Просто Остин.

Осмелев, я спросила, что он делал на сцене.

— Сперва был «черномазым», потом «смешной женщиной». От одного моего парика все валились со смеху. Я, милая, всякий раз их до колик доводил. Пришли. Богиня! Ты здесь?

Он в театральной манере приник ухом к двери и несколько секунд подождал.

— И молчанье было им ответом. Что ж, придется идти напролом, как думаешь?

Он еще раз постучал, потом осторожно открыл дверь, за которой я увидела сцену великого беспорядка: по комнате как попало были раскиданы шляпки с перьями и детали корсажа, штанишки на шнурках и скомканные юбки, трико и туфельки.

— Большой аккуратностью не отличается, — сказал Остин. — Артистическая натура. Твоя кровать вон там, милая. В том углу.

Там действительно была вторая кровать, правда, она вся была погребена под одеждой, шляпными коробками и газетными вырезками.

— А я все думал, куда он запропастился, — сказал он, убирая заварочный чайник, покрытый коричневой глазурью, с подушки, которая отныне была моей. — Дорис у нас чаевница.

Он пошел было из комнаты, потом вдруг резко повернулся — впоследствии я поняла, что это манера комиков, — и произнес театральным шепотом:

— Десять шиллингов в неделю. Дэн сказал, их будут вычитать из твоего жалованья. Не возражаешь?

Я кивнула. Я чувствовала, что уже вступила в новую жизнь, и была в таком восторге от превращения, что беспорядок в маленькой комнате мне даже нравился. Когда Остин ушел, я расчистила кровать и выложила свою одежду на стоящие рядом стул и тумбочку. На подоконнике были расставлены горшки с чахлыми цветами; выглянув в окно, я увидела новые железнодорожные пути, идущие поверх складов. Все было так ново, так диковинно, что я воистину ощущала себя взятой из старой жизни и вознесенной в некое благословенное царство свободы. Даже блеск рельсов казался мне неземным сиянием.

— Я знаю, о чем ты думаешь, — произнес женский голос у меня за спиной. — Ты думаешь: где милая моя каморка в Блумсбери.

— Я из Ламбета. С Болотной улицы.

— Не важно. Это слова из песни, милая.

Повернувшись, я увидела, что со мной разговаривает высокая молодая женщина с очень длинными темными волосами. Она меня немножко испугала, потому что была вся в белом.

— Я богиня проволоки, — представилась она. — Ты зови меня Дорис.

Она очень сердечно взяла меня за руку, и мы вместе сели на ее кровать.

— Дэн меня предупредил. Но что это я, ты же умираешь с голоду.

Она подошла к маленькому комоду и вынула из ящика пакет земляных орехов и бутылку шипучего лимонада.

— Подожди минутку, я еще сделаю тосты с маслом.

Мы просидели с ней до раннего вечера; я сказала, что потеряла родителей еще в детстве, что жила на Хановер-сквер и зарабатывала шитьем, что убежала от злой хозяйки и наконец прибилась к женщине,

которая шила паруса на Болотной. И вот меня подобрали Дядюшка и Дэн Лино. Разумеется, она поверила этой истории, — кто бы не поверил? — и пока я рассказывала, она гладила мою руку и вздыхала. В одном месте даже всплакнула, но вытерла слезы со словами:

— Не обращай внимания. Вечно я так.

Потом мы очень уютно пили чай, пока в дверь не постучали.

— Пять часов, милашки мои, — раздалось сопрано Остина. — Для увертюры и вступления — все на выход.

— Пусть его, — шепнула мне Дорис. — Он алкоголик. Знаешь, что это такое? — Потом прокричала ему: — Хорошо, мой милый! Скоро мы будем в полной готовности!

Она встала с кровати и начала прямо передо мной раздеваться. Моя мать всегда пряталась от меня во время мытья — настолько она стыдилась своего тела, и теперь я во все глаза смотрела на белую кожу и груди Дорис. У нее была, как говорят в театре, точеная фигурка. Я тоже наскоро помылась, и, увидев простое платье, которое я надела, она ласково накинула на меня свое прекрасное шерстяное пальто, и мы вместе вышли из дома.

Я не знала, когда и как мне надо будет приступать к работе, и послушно, как делала все сегодня, поехала с Дорис в «Вашингтон». От нашего дома это было совсем недалеко, но она помахала рукой и подозвала стоящую в ожидании карету. Вначале я подумала, что она наняла ее заранее, но когда возница, взглянув на нее с козел, дружески обратился к ней: «Как дела, богиня?» — я поняла, что он связан с труппой.

— В Эфф едем, — спросил он, — или в Олд-Мо?

— Сперва в Баттерси, Лайонел, а там по кругу.

— А новенькая откуда взялась?

— Не твое дело, на дорогу знай смотри.

Когда мы забрались в карету, Дорис шепнула мне:

— Лайонел, может, начнет тебя обхаживать, милая. Учти: он не джентльмен в строгом смысле.

Через несколько минут мы остановились у «Вашингтона», и когда мы торопливо входили в боковую дверь, к Дорис вдруг приблизился молодой человек с блокнотом.

— Можно одно словечко? — спросил он. — Я из «Эры».



Он говорил учтиво, и глаза у него были по-болотному бледные. Конечно, я и вообразить не могла, что в будущем он станет моим мужем. Это был Джон Кри.

## Глава 18

*12 сентября 1880 года.*

Прелестный разворот в «Полицейской газете» — хотя грубоватые гравюры несколько принижают славное деяние. Меня обрядили в цилиндр и плащ, придав мне обычный облик театрального сладострастника, — что ж, спасибо, что отдали должное хотя бы классовой принадлежности, ведь только представитель моего сословия мог создать такое изысканное зрелище; однако что им мешало соблюсти большую точность в деталях и композиции? Останки милой Джейн тоже можно было изобразить получше, используя более тонкую игру света и тени; меццо-тинто и гравировка пунктиром весьма действенны в передаче атмосферы без общего цветового прихорашиванья, хотя, по правде говоря, свершение, подобное моему, не требует ничего, кроме бесхитростной силы старомодного резца. Я не слишком удовлетворен и стилем газетных репортажей: от них слишком уж веет готикой, и они прискорбно хромают по части синтаксиса. «Два дня назад дьявол в человеческом обличье совершил самое ужасное, самое отвратительное убийство, какое когда-либо видел наш город...» и так далее. Я знаю, как нравится обывателям превращать свою жизнь в дешевую драму с привкусом балагана, но почему газетчики, все же люди пообразованней, не взяли хоть немного выше?

И тут я вспомнил про ученого еврея. В конце концов, убить шлюху — дело нехитрое, и подлинной, непреходящей славы этим не достигнешь. В любом случае жажда крови в обществе столь сильна, что весь город будет с нетерпением ждать убийства очередной потаскушки. Тут-то и заключена будет красота моего нового хода: он повергнет всех в такое изумление, озарит мой путь таким захватывающим дух совершенством, что каждой следующей смерти будут ждать затаив дыхание. Я стану символом эпохи.

*16 сентября 1880 года.*

Весьма удачно, что моя дорогая жена Лиззи решила провести вечер в Кларккенуэлле у одного из своих старых театральных приятелей, который, я подозреваю, стал законченным пьяницей. Это

дало мне прекрасную возможность сделать публике мой маленький сюрприз. Я достаточно хорошо знаю Скофилд-стрит и прекрасно запомнил дом, куда вошел мой еврей в тот туманный вечер, поэтому я решил побыть с утра в зале музея и дочитать Мэйхью, а затем уж исполнить мой замысел. Он сидел на своем обычном месте и не обратил на меня внимания, но я-то видел его хорошо. Когда он отправился посмотреть каталог, я, словно бы просто разминая ноги, прошел мимо его стола — кто бы мог воспротивиться искушению увидеть последнюю книгу, которую суждено читать на земле этому человеку? Один из томов лежал открытый, и названия не было видно, я разглядел только таблицы каббалистических и иероглифических знаков, бывшие, без сомнения, произведением некоего азиатского ума. Но была там и новая книга, лежавшая поверх каталога магазина Мерчисона, что на Ковни-стрит, — значит, он только что ее купил. Называлась она «Рабочие на заре»; проходя, я не успел ухватить фамилию автора, но в любом случае это был странный выбор для немецкого ученого. Я вернулся на свое место и читал Мэйхью, пока мой знакомец не вышел из читального зала на улицу, где сгустились сумерки.

Идти за ним по пятам не было нужды — я и так знал, куда он направляется, и решил в такой милый вечер прогуляться до реки со своим чудесным врачом саквояжиком (мало ли, вдруг кому-нибудь на моем пути понадобится хирургическое вмешательство!). Миновав Олдгейт и Тауэр, я повернул на Кэмптон-стрит. Вечер был такой ясный, что видны были церковные башни Ист-Энда, и весь город, казалось, трепетал в предчувствии великой перемены; в этот миг я преисполнился гордости из-за того, что именно мне выпала честь выразить его сокровенную волю. Я приближался к Лаймхаусу как его посланец.

В конце Скофилд-стрит, где эта улица выходит на Коммершиал-роуд, стоял газовый фонарь, но участок ближе к реке был теперь совершенно темен; дом номер семь с коричневой дверью находился как раз на границе света и тени. Тут были заурядные меблированные комнаты, и входную дверь еще не запирали; в одном из окон верхнего этажа светила масляная лампа, и я заключил, что именно там корпит над книгами мой мыслитель. Тихонько, чтобы не помешать его труду, я

взошел по лестнице, затем постучал в его дверь троекратным осторожным стуком. Он спросил, кто там.

— Ваш друг.

— Я вас знаю?

— Конечно.

Он чуть приотворил дверь, но я вставил в щель мой саквояж и распахнул дверь настежь.

— Господи, — прошептал он, — что вам нужно?

Это был не мой еврей, это был другой. Но я не выказал никакого удивления и шагнул к нему, протянув вперед левую руку с саквояжем.

— Я пришел свести с вами знакомство, — сказал я. — Я пришел поговорить о смерти и вечной жизни. — Я поднял саквояж повыше. — Секрет находится здесь. — Еврей не двигался, только смотрел, как я запускаю туда руку. — Мы с вами оба наделены чувством священного. Нам открыты тайны.

Я выхватил деревянный молот и, прежде чем он успел крикнуть, ударил его. Удар был сильный, но он не умер сразу; кровь из открытой раны стекала на вытертый ковер, и, встав рядом с ним на колени, я зашептал ему на ухо.

— В вашей Каббале, — сказал я, — любая жизнь считается эманацией *Эн-соф*.<sup>[12]</sup> Летите же, летите от этих ошметков материи к свету, из которого вы рождены.

Я снял с него черный капот и хлопчатобумажное белье; на столике подле его кровати стоял таз с водой, и я почтительно обтер его кожу моим собственным носовым платком. Потом вынул нож и принялся за работу. Воистину человеческое тело есть *marramundi*<sup>[13]</sup> с землями и континентами, с волокнистыми реками и мышечными океанами, и в членах мудреца ясно читалась духовная гармония тела, преображенного мыслью и молитвой. Он был еще жив и вздохнул, когда я сделал первый надрез, — то была, я думаю, радость духа, вольно взмывшего из отворенной темницы.

Я почувствовал непреодолимое желание отрезать его детородный член и довершить тем самым известный ритуал его веры. Я отсек его и потом, держа на весу у масляной лампы, исследовал его замысловатые очертания. Воистину вот еще одно дивное творение Господа. Под лампой лежала открытая книга, и я положил член на ее разворот — не лучшее ли место для репродуктивного органа мыслителя? Но что это?

На странице был изображен некий величественный демон и тут же изложена краткая история голема. Я знал, что он, как гомункулус, был слеплен из красной глины, но теперь с интересом прочел, что он поддерживал в себе жизнь, питаясь душами людей. Разумеется, это не более чем затейливая чушь, одно из пугал, рожденных ночной стороною мира; но нельзя было не увидеть занятного совпадения в том, как кровь ученого обагрила сами буквы, составляющие название существа, словно передо мной была цветная, богато изукрашенная страница средневекового манускрипта. Отъятый детородный член и голем соединились в одно целое. Я покинул комнату и поспешил на улицу; на углу Коммершиал-роуд я уже готов был закричать: «Убийство! О, Боже! Убийство!» — как вдруг дорогу пересекла зловещая черная кошка. Я погрозил адскому отродью кулаком и продолжил путь молча.

*18 сентября 1880 года.*

Лиззи просила меня поехать с ней в Кентербери, где вместе выступают Дэн Лино и Герберт Кэмпбелл, но мне надоело их сценическое убожество. Из «Дейли ньюс» я вижу, что меня окрестили Големом из Лаймхауса. Ну что за глупцы.

## Глава 19

Итак, Соломон Вейль, убитый и обезображенный, был найден среди своих книг. Жестокое убийство ученого еврея всего через шесть дней после насильственной смерти проститутки в том же районе города возбудило в лондонских обывателях лихорадочный интерес. Словно им давно хотелось получить что-нибудь в этом роде; словно имперская столица в ее современном состоянии требовала какого-то зримого знака, какого-то чудовищного подтверждения ее славы как самого обширного и мрачного города в мире. Вот почему прозвание «Голем» с такой готовностью было подхвачено и растиражировано; из тех, кто его повторял, лишь немногие понимали его точное значение, но ведь каббалисты убеждены, что само звучание или написание слова несет в себе его духовный смысл. Так что, слыша и произнося слово *golem*, люди, может быть, интуитивно ощущали слепой ужас искусственной жизни и бездушной формы; в тоне, в модуляции голоса они улавливали насмешливый отзвук слова *soul* — душа. Голем стал символом обступающего их города, и поиски загадочного существа любопытным образом превратились в поиски секрета самого Лондона.

Одна соседка Вейля вспомнила, что видела джентльмена иностранного вида с бородой, который выходил из дома на Скофилд-стрит, но она не могла точно сказать, в какой вечер это было. Сотрудники недавно учрежденного Уголовно-следственного отдела в ходе розыска столкнулись и с другими упоминаниями о том же самом бородатом иностранце; его, например, видели в толпе зевак около варьете «Пантеон» на Коммершиал-роуд, и один наблюдательный официант тогда же заметил, что он что-то записывает в маленький блокнотик. Полиция сумела получить и более непосредственное свидетельство: возница двухколесного кеба показал, что он привез джентльмена именно такой наружности на Скофилд-стрит за несколько дней до убийства. Он отчетливо помнил, что дело было вечером, в последний большой туман, и что седока он взял на своей обычной стоянке на Грейт-Расселл-стрит. Он был уверен, что джентльмен ехал из Британского музея, потому что видел его там и раньше; к сожалению, он забыл о том, что вез одновременно и Джона Кри. На следующее утро два детектива из восьмого полицейского

округа посетили директора читального зала, и по их описанию бородатого иностранца было быстро установлено, что это мистер Карл Маркс.

Сам же Маркс после того вечера, когда Джон Кри видел его в читальном зале Британского музея, из дома не выходил — он сильно простудился, чему, без сомнения, был виной долгий путь домой после вечерней беседы с Соломоном Вейлем. Газет в эти дни он не читал и поэтому узнал о гибели своего друга только утром восемнадцатого сентября, когда главный инспектор Килдэр и детектив Пол Брайден пришли к нему домой на Мейтленд-парк-роуд. В его кабинет на втором этаже их проводила Элеонора, одна из дочерей Маркса, которая в то время ухаживала и за своей матерью: Женни Маркс была больна уже несколько недель, и вскоре у нее будет диагностирован рак печени. Комната, куда они вошли, была полна книг — они лежали повсюду, словно дух из них был выпит и они в изнеможении опустились на пол; в воздухе стоял густой сигарный дым, и на миг Брайдену пришли на память «музыкальные погребки» и «гроты гармонии», которые он инспектировал, когда только поступил в столичную полицию. Карл Маркс сидел за небольшим письменным столом посреди кабинета; на нем были очки в стальной оправе, которые он снял при виде входящих полицейских. Их визит его не особенно беспокоил; успев привыкнуть за последние тридцать лет к вниманию властей, он встретил посетителей в своей обычной манере, со степенным достоинством. Возможно, впрочем, что он был несколько озадачен: в последние годы министерство внутренних дел как будто потеряло к нему интерес. Кто он, в сущности, такой — всего-навсего старый революционер.

Он пригласил обоих сесть на кожаный диван у окна, после чего, прохаживаясь по узкой дорожке, которая только и оставалась на ковре среди книг, вежливо поинтересовался, чему обязан. Килдэр спросил, где он был вечером шестнадцатого, на что Маркс ответил, что лежал в постели с бронхитом, от которого только сейчас поправляется. Жена и обе дочери могут подтвердить, что он никуда не отлучался, — но, прошу прощения, что случилось? Когда они сообщили ему о смерти Соломона Вейля, он секунду-другую смотрел на них, потом поднес руку к бороде и пробормотал что-то по-немецки.

— Вы его знали, сэр?

— Да. Знал. Это был выдающийся ум. — Он отнял руку от бороды и посмотрел на них мрачным взглядом. — Убийце не Соломон Вейль был нужен. Ему нужен был еврей.

Было ясно, что полицейские не вполне хорошо его поняли.

— Знали бы вы, — продолжал Маркс, — как легко в этом мире люди становятся символами идей.

Тут он вспомнил о долге хозяина и спросил, не хотят ли они чаю; вновь была вызвана Элеонора, и когда она вышла, полицейские стали подробно расспрашивать Маркса об его отношениях с Вейлем.

— Я тоже еврей, хоть это и не всем, может быть, известно.

Килдэр промолчал, но отметил про себя, что, несмотря на годы, Маркс говорит с вызовом и едва сдерживаемой злостью.

— Мы беседовали о древностях, о старых легендах. Рассуждали на теологические темы. Мы оба, видите ли, жили в наших книгах.

— Но вас примечали на улицах Лаймхауса, сэр, совсем одного.

— Я люблю ходить пешком. Да, представьте себе, хоть я и немолод. На ходу лучше думается. И есть что-то в этих улицах наводящее на размышления. Открыть вам секрет? — Килдэр все молчал. — Я пишу поэму. В юности я только и делал, что сочинял стихи, и теперь в таком месте, как Лаймхаус, ко мне возвращаются гнев и печаль ранних лет. Вот почему я там бываю. — Он не повернул головы, когда Элеонора принесла чай, и она вышла из комнаты так же тихо, как вошла. — Так вы что, подозреваете меня в убийстве? Думаете, у меня красные руки?

Шутка до них дошла, потому что они уже просмотрели досье, заведенное на Карла Маркса лондонской полицией, и обратили внимание на специальный рапорт детектива Уильямсона под порядковым номером 36 228, написанный шесть лет назад, где рекомендовалось отказать мистеру Марксу в натурализации на том основании, что он — «скандально известный немецкий агитатор, глава Интернационального общества, приверженец коммунистических принципов». Им также интересовались, когда ирландские революционеры напали на Кларкенуэллскую тюрьму, а в 1871 году, после падения Парижской коммуны, министр внутренних дел лорд Абердэр распорядился учредить за ним надзор.

— На ваших руках, — ответил Килдэр, — я вижу только следы чернил, которыми вы пишете.



— Вот и хорошо. Так и должно быть. Иногда мне кажется, что я сотворен из одной бумаги и чернил. Расскажите мне теперь, как убили Соломона. — Килдэр бросил взгляд на дверь кабинета, которую Элеонора оставила приоткрытой, и Маркс, подойдя, тихо затворил ее. — Какие-то необычные обстоятельства?

— Подробности не слишком приятные, сэр.

— Вы меня очень обяжете, если расскажете все.

Маркс внимательно слушал о том, как Соломону Вейлю разможили череп тупым орудием, скорее всего деревянным молотом, и как было обезображено его тело. Килдэр также описал, как вся комната была разубрана частями человеческого тела и как половой член нашли на развороте книги Хартлиба «Познание священного» поверх строк, разъясняющих понятие «голем». Это словечко уже подхватили газеты.

— Значит, они нарекли убийцу Големом, верно я понял? — Маркс вознегодовал не на шутку, и в эту минуту детективы сполна ощутили силу его натуры. — Еврей убит еврейским чудовищем, а они как бы и ни при чем! Не обманывайтесь на этот счет, господа. Не Соломон Вейль — еврей убит и поруган. Еврей растерзан, а они чистенькие, они умывают руки!

— Но до этого была убита и изуродована проститутка. Она была не еврейской нации.

— Но как вы не видите, что убийца избрал два самых ярких символа города? Жид и шлюха — вот козлы отпущения в лондонской пустыне, их и следовало кинуть на алтарь какого-то страшного божества. Понятно вам это?

— Значит, по-вашему, здесь заговор, тайное общество?

Карл Маркс раздраженно махнул рукой:

— *Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert.* <sup>[14]</sup>

— Простите?

— Я не могу это объяснить в таком именно смысле, господа. Я говорю о реальных тенденциях, приведших к этим смертям. Видите ли, убийство есть часть истории. Оно не вне истории. Это симптом страшной болезни, а не ее причина. Знаете ли вы, что в тюрьмах Англии больше заключенных гибнет от рук других заключенных, чем по приговору суда?

— Я потерял нить вашей мысли.

— Я хочу сказать, что улицы города — тюрьма для тех, кто по ним ходит.

В этот момент раздался осторожный стук в дверь, и Элеонора, не входя в кабинет, осведомилась, желают ли господа еще чаю. Нет, они напились и больше не хотят; тогда она вошла и унесла поднос. В ней было что-то от спокойствия и некогда неукротимой энергии ее матери, но она унаследовала также природный артистизм отца — дошло до того, что она, как и ее сестра Женни, возмечтала о сценической карьере. Она уже прошла обучение у госпожи Клермон на Бернерс-стрит, но, хотя ей всегда нравился простонародный юмор мюзикхоллов, дочери респектабельного семейства о профессии комедиантки или танцовки нечего было и думать. Поэтому она встала на более серьезную стезю, и не далее как несколькими днями раньше ей обещали первую в жизни роль в пьесе Оскара Уайльда «Вера, или Нигилисты». Ей предстояло сыграть Веру Сабурову, дочь трактирщика, и, входя в комнату, чтобы забрать поднос, она проговаривала про себя одну из фраз роли: «Они голодны и несчастны. Я иду к ним».

Карл Маркс, привыкший к ее тихим появлениям, продолжал развивать свою мысль.

— Для драматургов улица — тот же театр; но это театр угнетения и жестокости.

— Они голодны и несчастны. Я иду к ним.

— Что ты говоришь, Лена?

Безотчетно она произнесла свою реплику во всеуслышание.

— Ничего, папа. Я вслух размышляла, — прошептала она, выходя из комнаты.

Детективам не хотелось надолго задерживаться в обществе старика; но он все ходил взад-вперед по ковру, и они вежливо слушали.

— Знаете французский? — спросил он их. — Вам понятно, что значит *la mort saisit le vif*?<sup>[15]</sup>

— Связано со смертью, сэр?

— Может, и так. Эта фраза по-разному переводится. — Он подошел к окну; внизу в сквере играли дети. — Это также связано с историей, с прошлым. — Он увидел мальчика, играющего в серсо. — Соломон Вейль, надо думать, был последним в своем роду. — Он

повернулся к полицейским. — Что будет с его книгами? Нельзя допустить, чтобы их растащили. Книги надо сохранить.

Они посмотрели на него с удивлением — что, оказывается, его волнует — и, не ответив, встали, чтобы уйти. Им было ясно, что этот человек — не убийца, хотя алиби Маркса, конечно, будет тщательно проверено, и в последующие дни, куда он ни пойдет из своего дома на Мейтленд-парк-роуд, за ним будет следовать шпик.

Они ушли, а он остался в своем кабинете и стал перебирать в памяти подробности последнего разговора с Соломоном Вейлем. Он взял лист бумаги и, не садясь, кратко записал то, что удалось вспомнить. Пришел на ум один мимолетный поворот беседы. Они обсуждали верования некой секты евреев-гностиков, расцветшей в Кракове в середине восемнадцатого века; главный пункт их воззрений был связан с представлением о переселении душ в низшем мире, благодаря чему жители земли беспрерывно перерождаются во все новых местах и при все новых обстоятельствах. Зловредные духи низших сфер порой разрывают отлетающую душу на два или три «пламени», или «огня», и тогда элементы одного человека распределяются между соответствующим числом новорожденных. Эти демоны обладают еще одной способностью, дарованной им Иеговой — злым богом здешнего мира: некоторых отмеченных людей они от рождения наделяют полным знанием о прежней жизни и прежнем воплощении, но под страхом вечной муки эти люди ни с кем не могут поделиться своим знанием. Если им удастся пройти на земле весь естественный жизненный круг, их дух получает свободу. «Кем вы раньше были, Исаией? — спросил Маркса в тот вечер Соломон Вейль. — Или Иезекиилем?»

Маркс опять подошел к окну и посмотрел на детей. Не в этот ли миг покойный друг пробуждается для новой жизни на земле? Попадет ли он в число избранных, будет ли он помнить, что раньше его звали Соломон Вейль? Или его душа уже обрела свободу? Впрочем, это все чепуха.

Он подошел к книжному шкафу и снял с полки «Беседы троих юристов о политической экономии» Томаса Де Куинси.

## Глава 20

В прежней жизни, наверно, я была великой актрисой. Стоило мне еще до того, как зажгли газовые лампы, взойти на сцену вместе с Дорис, и я почувствовала себя как рыба в воде. Конечно, поначалу я была только суфлершей и переписчицей, не выше рангом, чем актеры без речей и мальчики, объявляющие выход, и я не больше думала о том, что стану петь и танцевать, чем какой-нибудь осветитель мечтает о карьере комика. И все же, как я сказала, сцена была моей стихией.

В первые дни я смотрела, как Дэн Лино репетирует с Чарли — «Меня кличут пьянчужкой» — Бойдом, и должна была записывать все «виньетки» и вспышки остроумия, какие у них возникали по ходу сценария. Если Дэн бросал: «Вот это, может, сгодится» или «Запиши-ка одну штучку на всякий случай», я знала, что сейчас должна буду строчить во весь опор, чтобы не отстать от «спонтанирующего» (его словечко) Дэна. Хоть он был очень юн, он уже мог черпать из бездонного колодезя чувствительности и комической грусти. Я часто удивлялась, откуда это в нем берется, потому что в себе ничего подобного не находила; думаю, в прошлом у него не все было светло. Он беспрерывно смеялся, не умолкал ни на минуту и самые обычные вещи говорил так, что они врезались в память навсегда. Однажды на обратном пути из «Эффингема», что в Уайтчепеле, мы проезжали мимо Тауэра, и он высунулся из окна, чтобы посмотреть на замок. Все смотрел и смотрел, пока мы не повернули за угол, а потом со вздохом откинулся на спинку сиденья. «Вот здание, — сказал он, — к которому стремишься всей душой». Важно еще, как он это сказал — не в манере кокни, а, по его излюбленному выражению, мелодично-меланхолично-весело.

Мне в эти дни все было по сердцу, и я с удовольствием смотрела и слушала, как они импровизируют на сцене.

— Растолкуй-ка, служивый, — мог сказать Чарли, — как твои панталоны лучше смотрятся? В ширину или в ширинку?

— Слишком солоно. — Дэн не жаловал юмор такого сорта. — Я тебя подведу к твоей песне, не бойся. А потом сам выхожу на авансцену и начинаю монолог.

Эта песня была коронным номером Чарли — «Вчера она мне подарила двойню в знак примиренья любящих сердец», — а Дэн взялся исполнять роль его заезженной, отягощенной многими заботами жены:

— Наконец он привез меня в больницу. Премиленькое местечко! Кроватей-то, кроватей. Подходит акушерка и спрашивает: «Вы здесь по его милости?» Я отвечаю: «Да, дорогая моя, — он заплатил за омнибус». Мы так смеялись! Потом я ей говорю: «Скорей бы мне освободиться от этой тягости — как было бы славно!» Она спрашивает: «Когда ваш срок?» — «Да я не про ребенка, дорогая моя. Про мужа». Вот смеху-то! — Дэн умолк и посмотрел на меня. — Что-то здесь не то, как тебе кажется?

Я покачала головой.

— Материнства мало.

Дэн повернулся к Чарли, который молча отработывал свой любимый трюк: очень быстро пятился назад. (Помню, в варьете «Савой» он разыгрывал такую сценку: некто пытается попасть на великосветский прием и дурачит полицейского у дверей, делая вид, что он не входит, а выходит. Это было незабываемо.)

— Как по-твоему, Чарли? Материнство во мне есть?

— Не спрашивай меня, мой милый. — Чарли вдруг сам проникся к нему материнским чувством. — Я так много нарожал детей, что мне бы Ноя играть. Или еще какого-нибудь матерого старикана.

Само собой, часто звучали такие шуточки и словечки, что мне приходилось прикидываться оглохшей, — что ж, без пошлятины мюзик-холл не мюзик-холл; но я хотела убедить Дэна, что я невинна, как Коломбина из рождественской пантомимы. Я хотела сохранить себя для сцены. Дорис, богиня проволоки, неизменно была ко мне очень добра. Выслушав выдуманную мной историю сиротки, она решила за мной «доглядывать». В холодные ночи мы спали вместе, и я прижималась к ночной рубашке Дорис, чтобы впитывать ее красоту неостывшей. Приткнувшись друг к другу, мы разговаривали: мечтали о том, как завоюем сердце принца Уэльского, как после представления он придет за кулисы пожать нам руки; или как богатый поклонник будет присылать нам по пять гвоздик в день, пока мы не согласимся выйти за него замуж. Наша общая подруга Тотти Голайтли, певчая пташка и «смешная женщина», иногда приходила к нам на сосиски с

картофельным пюре. Она невероятно красиво одевалась, носила высокие ботинки на пуговках, сиявших в газовом свете алмазами, но на сцену выходила в продавленной желтой шляпке, невообразимо широком пальто и допотопных ботинках. При появлении она всегда потрясала старым зеленым зонтом, похожим на гигантский салатный лист. «Как он вам? — спрашивала она, размахивая им во все стороны. — Ну не шик ли? Ну не роскошь ли? С ним хоть в Ла-Манш пускайся, и останешься сухой. Моя правда или чья еще?» Последняя фраза была ее коронная, стоило ей ее начать, как зал хором заканчивал. Ее самая знаменитая песенка называлась «Я женщина немногословная»; допев ее, она на несколько секунд уходила со сцены, а потом возвращалась в элегантном фраке, брюках и монокле, чтобы спеть: «Я только раз ее видел в окне». Вы видите, я все примечала, все запоминала; думаю, уже тогда я с нетерпением дожидалась дня, когда выйду на подмостки в костюме и гриме.

Малыш Виктор Фаррелл тоже был актер, и, к моей досаде, он положил на меня глаз. Он был карлик не более четырех футов ростом; публика приходила в раж от его выступлений в роли «морячка». Он ходил за мной по пятам, а когда я гнала его вон, улыбался этой своей саркастической улыбочкой и, притворяясь плачущим, вытирал глаза носовым платком почти такого же размера, как он сам. «Спустимся в буфет, съедим по отбивной, — предложил он однажды вечером после представления в „Олд-Мо“. — Как насчет мяса, Лиззи?» Я только что кончила убирать артистическую и слишком устала, чтобы отбрить его как следует; так или иначе, я сильно проголодалась. Мы спустились под сцену; там было устроено нечто вроде погребка для актеров и их друзей. Эти «друзья» были заурядные театральные воздыхатели и щеголи, увивавшиеся за всякой юбкой, какую видели на сцене или около нее. Ко мне, впрочем, они никогда не подкатывались: стоило взглянуть на меня один раз, как становилось ясно, что у меня не больше охоты задирать юбки перед ними, чем перед самим чертом.

В буфете не было ни цветов, ни стенных росписей — всего лишь простые столы и стулья, да у одной стены большое надтреснутое зеркало, в котором туманились все их усталые лица. Запах табачного дыма и бараньих отбивных был приправлен парами расплескавшегося джина и пива. Мне тут, по правде говоря, было противно, но, как вы уже знаете, я была голодна. Малыш Виктор Фаррелл все не отпускал

мою руку — хотел, видно, выставить меня на всеобщее обозрение, как чучело попугая в номере «Морячок»; он подвел меня к столу, где Гарри Тернер грустил над стаканом портера. Увидев меня, Гарри встал — он-то всегда был джентльменом, — и Виктор вызвался принести ему еще стакан, на что тот вежливо согласился. Гарри был ходячий справочник, «Память — капкан»: не было такого события, какое он не мог бы точно датировать по требованию зрителей. Как-то он рассказал мне свою историю: в детстве его чуть насмерть не раздавила на улице старомодная карета с фореитором, и он три месяца пролежал в постели. В это время он стал читать все подряд, и оказалось, что он с одного раза и накрепко, просто удовольствия ради, запоминает исторические даты. От колеса, переехавшего ногу, у него осталась хромота, но более здорового ума я в жизни ни у кого не встречала.

— Скажи-ка мне, Гарри, — спросила я, просто чтобы скоротать время, пока Виктор отлучился к стойке, — когда построили Олд-Мо?

— Лиззи, ты же знаешь, я это делаю только на сцене.

— Ну один разочек.

— Зал открыли одиннадцатого ноября тысяча восемьсот двадцать третьего года, а до этого там была часовня Милосердных сестер. Пятого октября тысяча восемьсот двадцатого года был обнаружен старинный фундамент — как выяснилось, шестнадцатого века. Довольна?

Возвращаясь с едой и выпивкой, Виктор уже принялся слать во все стороны немые сигналы: в мюзик-холле ведь мигнул, кивнул — и подхвачено на лету.

— Поройся-ка еще в своей памяти, Гарри, — сказал он. — Что это там за Мафусаил расселся? — Виктор смотрел на какого-то старика, который присоседился к комической «львице» и, судя по всему, чувствовал себя вполне уютно. — На кольцо, на кольцо гляньте. Деньги, видно, гребет лопатой. Миллионщик, не иначе.

— Самым старым человеком страны, — сказал Гарри, — был Томас Парр, который умер в тысяча шестьсот пятьдесят третьем году в возрасте ста пятидесяти трех лет. Тут ни убавить ни прибавить.

— А вот у меня, как на тебя погляжу, кое-где прибавляется, — шепнул мне Виктор.

Я мягко накрыла рукой его ладонь, а потом так оттянула его палец назад, что он заорал на весь буфет. Я отпустила палец не раньше, чем

люди начали оглядываться; Виктор всем стал объяснять, что я наступила ему на мозоль.

— Будешь знать! — прошептала я ему яростно.

— Для женщины, Лиззи, ты чертовски сильная. — Он помолчал, рассматривая распухший палец. — Прими мои глубочайшие извинения. Ты считаешь, я слишком выпячиваюсь?

— Не забывай, что я девушка.

— Как, ведь тебе должно быть уже больше пятнадцати!

— Не должно. Сходи-ка принеси мне печеной картошки, пока я тебе еще что-нибудь не испортила.

Виктор был из тех компанейских ребят, что всегда и с кем угодно готовы «хлопнуть по одной». Я знала, что он выступает и в заведениях низкого пошиба и не брезгует деньгами, которые мы называли «мокрыми»; он сам мне в этом признавался и хвастался, что может пить наравне с любым мужчиной нормального роста — на его языке это называлось «вливать графин в стакан». А в тот вечер он сам себя перещеголял — скакал, как мячик, по всему буфету, от одной компании к другой; когда он сполз под стол, я позволила ему на секунду-другую заглянуть мне под юбку. Но когда он ухватился за мою лодыжку, я пнула его так, что он кубарем выкатился с другой стороны стола. Я хотела встать и дать ему еще пинка, как вдруг увидела торопящегося ко мне молодого человека.

— Не требуется ли вам помощь? — спросил он.

Я сразу его узнала: это был Джон Кри, репортер из «Эры», который подходил к Дорис у «Вашингтона».

— Уведите меня отсюда, сэр, — сказала я. — И зачем только я пошла в это мерзкое заведение.

Он поднялся со мной по лестнице, и мы вышли на боковую улочку.

— Как вы себя чувствуете? — Он подождал, пока я успокоилась. — Вы несколько бледны.

— Со мной нехорошо обошлись, — ответила я. — Но есть, видно, ангел-хранитель, который меня защищает.

— Позвольте мне вас проводить. Улицы в этой части города...

— Не нужно, сэр. Я сама найду дорогу. Я привыкла поздно возвращаться.



Он отошел; я полной грудью вдыхала лондонский воздух, изгоняя из легких табачный дым. Странная ночь — и главные события еще были впереди. Ибо на рассвете, через несколько часов после моей встречи с Джоном Кри, в подвальном помещении в двух кварталах от театра было найдено тело Малыша Виктора Фаррелла. Шея у него была сломана — несомненно, из-за пьяного падения. Он покинул буфет, как выразился один из его собутыльников, «совсем хороший»; все пришли к заключению, что, вслепую шатаясь по ночным улицам, он случайно набрел на лестницу, ведущую в подвал. «Морячок» приказал долго жить.

На следующий день, когда мы все собрались на утреннее представление, Дядюшка изображал безутешное горе.

— Он был грандиозный комик, — сказал он мне, держа наготове платок, — хоть и не вышел росточком. Я думал, у него крепкая голова на спиртное, но увы, как говорил Шекспир, я крепко ошибался. — Крепость его собственной головы подверглась в то утро испытанию, ибо почти все артисты в знак сочувствия поднесли ему по маленькой. — Он начинал уличным трюкачом, Лиззи. Его едва видно было от пола, а он уже выделял всякие штуки. — Он поднял платок к лицу, но для того лишь, чтобы высморкать мясистый нос. — Помню, как он в первый раз вышел в старом «Аполло» в Марилебоне. В афише написали: «Козявка, не лишенная чувствительности». Пел он тебе когда-нибудь «Кота из доходного дома»?

— Не горюй, Дядюшка, — сказала я, поцеловав его в потный лоб. — Он был настоящим светилом и теперь восходит на большую небесную сцену.

— Вряд ли там есть варьете, милая. — Он всхрапнул, издав полусмешок, полувздых. — Что ж, всякая плоть — трава, как сказал пророк.

Я почувствовала, что момент настал.

— Я вот думаю, Дядюшка. Ведь Виктор, ты знаешь, был мне как второй отец...

— Да, конечно.

— ...и я хочу что-то сделать в память о нем.

— Продолжай, милая.

— Я вот думаю: не позволишь ли ты мне сегодня вечером выступить с его номером? Я знаю наизусть все его песни. — Его взгляд стал серьезным, и я заговорила быстрее: — Ведь в программе получилась дырка, так что мешает мне помянуть его по-хорошему?

— Но ты, как бы сказать, ростом чуток повыше, Лиззи. Выйдет ли что-нибудь путное?

— В этом будет весь смех, как ты не понимаешь. Виктор повеселился бы сам.

— Что-то я не знаю, милая. Но, может, ты мне покажешь?

Я действительно хорошо изучила номер Малыша Виктора — досконально знала и текст, и все движения. И прямо как была, не в костюме, я спела Дядюшке «Когда бы хоть один мерзавец» и попрыгала перед ним в самой что ни на есть «моряцкой» манере.

— Скачешь неплохо, — сказал он.

— Виктор сам меня учил. Он говорил, что-то во мне есть такое смешное, и жаль, если пропадет.

— И голосишко у тебя имеется.

— Спасибо, Дядюшка. Как ты думаешь, Виктор был бы доволен, если бы я получила шанс?

Он помолчал минутку — видно было, что перебирает в уме разные амплуа: смешная женщина, танцовщица-эксцентрик?

— Может быть, — сказал он, — мы тебя объявим как дочку Малыша Виктора? Из малых желудей, сама знаешь...

— Я всегда о нем думала как о втором отце. Он был ко мне очень добр.

— Знаю, знаю, милая. В нем много было отцовских чувств.

И вот, уронив слезинку-другую, мы порешили, что сегодня вечером я исполню номер Малыша Виктора. Дэн, похоже, не одобрил эту затею, но, увидев, каким восторгом сияет мое лицо, он не решился воспротивиться — на это-то я и рассчитывала. Можете вообразить мое волнение, когда я облачалась для первого в жизни выхода; одежонка Малыша Виктора, разумеется, на мне чуть не разъехалась по швам, но в этом, как я, переодеваясь, сказала Дорис, как раз и была вся соль: в стольких, мол, соленых водах побывали эти моряцкие тряпки, что сели немилосердно. Мы были в зеленой комнате — Дорис, я, еще несколько из наших, — все чесали языками и смеялись в том припадке веселости, какой всегда наступает после чьей-нибудь смерти. Никто

Малыша Виктора особенно не любил, никто даже не был к нему особенно привязан; да и в любом случае наш брат комик в знак траура по умершему товарищу старается шутить за двоих.

— Без четверти семь, — раздался голос объявляющего.

Дорис открыла дверь и крикнула ему вдогонку:

— Как публика, Сид?

— Размазня. Бери тепленьких.

Мой выход был между балетным номером и эфиопскими серенадами; когда я сидела в углу и тряслась, ко мне подошел бутафор и приобнял меня за плечи.

— Знаешь, Лиззи, как говорят? Рот раззявил — куража себе прибавил. Если свистеть начнут, сама им свисти, не будь дура.

Это не слишком-то меня ободрило, но он, конечно, хотел как лучше.

Когда объявили дочь Малыша Виктора, зрители пришли в раж. О случившемся знали все — публика собралась из ближних кварталов, — и, выйдя на сцену в его костюме и начав петь «Ради тебя, милый папаша», я сразу поняла, что зал мой. Я немножко поиграла на жалости к умершему, потом подкинула шуточек, какие помнила по выступлениям Виктора, и добавила старой комедийной возни с потерянным платком. И было у меня в запасе кое-что новенькое. Я знала, какие странные у меня руки — большие, шершавые, — и, чтобы подчеркнуть их величину, надела белые перчатки. Я протянула руки вперед, к зрителям, и вздохнула: «Перчаточки вы мои бумажные, неавантажные!» Фраза им понравилась — она из тех, что задевают какую-то струну, — и следом я запустила песенку, которая всегда производит фурор: «Воскресенье опять». Мне казалось, я могу петь бесконечно, но вдруг я увидела, что Дядюшка машет мне из-за кулис. Я опрометью бросилась к нему под восторженный топот и свист публики.

— Еще куплет, — сказал он, — и выметайся со сцены, хоть и будут просить.

Я побежала обратно и спела им продолжение:

Кошка, хоть и срок пришел, не должна котиться,  
И на яйца курица не должна садиться.  
Согласитесь, тяжко ей в этой ситуации —

В воскресенье и мечтать не смей об инкубации.  
В воскресенье брось дела, плотник, пекарь,  
мельник!  
Сможешь взяться вновь за них только в  
понедельник.

Я пела это место особенно хорошо, потому что помнила, как мать, что ни воскресенье, тащила меня в маленькую часовню с жестяной крышей и превращала отдых в сущую муку. Танцуя на сцене, я радостно ощущала, что танцую на ее могиле. Как я ликовала! За это я им и полюбилась. На сцену ливнем полетели медяки, и, вопреки требованию Дядюшки, я исполнила на бис припев из номера «А мясо-то кусается». Когда я кончила, они так заорали и затопали, что, благодаря их за внимание, я не слышала собственного голоса. Я была в совершенном упоении — мне казалось, я умерла и вознеслась на небо. И, конечно, в некотором смысле так оно и было. Мое старое «я» умерло, и на свет родилась новая Лиззи, дочка Малыша Виктора в бумажных перчаточках.

Я думаю, Дэн все еще был мной недоволен из-за этого выступления, но он не мог не видеть, что я отработала отменно. В мире мюзик-холлов я по-прежнему была на новенькую, но в последующие недели и месяцы в программах вечеров я неуклонно поднималась вверх. Одна песня — «Щелка в ставне, или Откуда мне знать в моем возрасте» — стала моей безраздельной собственностью, однако я очень быстро поняла, что по природе я комическая артистка, а не заурядная певичка или танцовка. Во мне открылась веселая жилка, и вскоре к моему имени в афишах стали прибавлять «Уморительна без вульгарности». Я и сейчас прекрасно помню все мои сценки. Я изображала купальную кабинку на колесиках и пела: «Как жаль, что в Лондоне у нас нет моря», а потом убивала их наповал песенкой «Я надеюсь, еще долго-долго-долго он не сделает этого опять». Я не видела тут никакой двусмысленности и пела это как безобидную жалобу жены, которую муж раз в год берет на речную прогулку на парходике до Грейвзенда. Не знаю, может, вся штука была в том, как я произносила «сделает», но публика просто заходилась.

Я никогда не понимала, откуда берется во мне юмор. Вне сцены я не была особенно смешной или остроумной — скорей уж, наоборот, мрачной. Словно не я, другая стояла раз за разом в этом газовом сиянии, и порой я даже изумлялась ее простецким шуточкам и болтовне на жаргоне кокни. Она обзавелась и собственной одежкой — лучше всего ей подходили мятый чепец, длинная юбка и большие башмаки, — и я еще только это надевала, а она уже начинала появляться. Порой она становилась совершенно неуправляема; однажды в смитфилдском «Паласе» она пустилась в безудержное зубоскальство на библейские темы и весьма неблагочестиво обыграла историю о Давиде и Голиафе. Евреи, составлявшие в этом зале немалую часть публики, веселились от души, но на следующий день к директору явилась с жалобой депутация от Общества распространения Евангелия. Что они делали накануне на представлении, понять было трудно; но, так или иначе, Дочке Малыша Виктора пришлось этот номер снять. Конечно, у меня и поклонники появились; спросите любую артистку, и она вам скажет, сколько доуки приходится терпеть от толпящихся у подъезда воздыхателей. Иной раз насаждают так, что только держись, — хотя главным образом это невзрачные кондукторы омнибусов и клерки из Сити. К счастью, мы с Дорис, как и раньше, обитали вместе на Нью-кат и обычно просто-напросто шли напрямик, не обращая на них внимания. «Я, конечно, не Блонден,<sup>[16]</sup> — сказала она раз, — но по прямой, если надо, пройти могу». Она все еще была богиней проволоки, по крайней мере для ее поклонников, но и о Дочке Малыша Виктора любители варьете уже начали поговаривать, что она «ничего себе штучка». Так или иначе, мы по-прежнему были лучшими подругами и после представления не знали ничего приятней, как уединиться в своей комнате и мило поужинать ветчиной и салатом. Выступление меня всегда очень будоражило — порой, если судить по озабоченному лицу Дорис, я даже была на грани истерики, — но постепенно Дочка Малыша Виктора как бы таяла и проступала обычная Лиззи. Я должна была стараться не противоречить рассказу о бедной сиротке, которым я разжалобила Дорис при первом знакомстве, но это-то было просто: я выдумала целую историю, в которой самой себе была гораздо интереснее, чем в жизни, и мне было совсем не трудно держаться в ее рамках.

Иногда заходил Остин с несколькими бутылками портера и пускался в воспоминания о былом, о юных годах, когда он пел дискантом в разнообразных «гротах гармонии» и «обителях песни».

— Голос у меня был прелесть какой, — доверительно поведал он нам однажды, — и в чайном садике я появлялся прямо как ангел небесный. Я, голубушки, в самых лучших театрах мог бы выступать, я мог бы стать второй Бетти. Профессиональная зависть меня подкосила. Мне загородили путь на сцену — боялись меня, ясно вам? В «Друри-Лейн» дали от ворот поворот. Ладно, душеньки, вот вам от матушки молочко.

Он подлил нам портера, и они с Дорис принялись сплетничать про шашни чревоушателя с «черномазой» танцоркой из «Бэзилдона» и про то, как Кларенса Ллойда нашли мертвецки пьяного в женском костюме около матросской миссии. Бедного Кларенса, если верить Остину, отправили в кутузку за непристойное поведение, и когда его вели в полицию, он распевал свою песню «Пока был первый муженек мой жив». Но каким-то образом разговор наш всегда выходил на Дэна — на «мистера Лино», как Остин неизменно величал его, будучи в подпитии. Дэн всегда оставался для нас загадкой, и эта загадка заключалась в его артистизме, очевидном любому, даже самому темному из зрителей.

— Вот говорят: Теннисон, Браунинг, — не раз повторял Остин, — не мне принижать таланты этих господ, но поверьте, девочки: мистер Лино — это *оно, то самое*.

Он не преувеличивал: Дэну было тогда только пятнадцать, но он играл так много ролей, что у него почти не оставалось времени быть самим собой. И при этом он каким-то образом ухитрялся всегда быть самим собой. Он был индианкой, официантом, молочницей, паровозным машинистом, но не кто иной, как Дэн, извлекал этих людей из небытия. Играя мелкого лавочника, он заставлял тебя видеть торгующихся с ним покупателей и ворующих у него беспризорников. Когда он бормотал: «Сейчас пойду спущу с цепи Горгонзолу», ты чувствовала запах сыра, а когда он притворялся, что стреляет, чтобы положить конец мучениям живого существа, ты видела ружье и слышала выстрел. Какой поднимался рев, когда он появлялся на сцене! Подбежав к самой рампе, он выбивал башмаками барабанную дробь, потом высоко поднимал правую ногу и опускал ее на доски с

оглушительным стуком. И мигом превращался в старую деву с кислым лицом, пытающуюся найти жениха.

— Он неисчерпаем, — сказал мне Дядюшка однажды вечером, когда мы выходили из «Дезидерейты» в Хокстоне. — Совершенно неисчерпаем. — Он что-то слишком плотно придерживал мою руку, но я помнила, сколь многим ему обязана, и высвободила ее чрезвычайно мягко. Он как будто не заметил. — Милая моя Лиззи, как насчет хорошей порции рыбы с картошкой? В самый раз будет что-нибудь горячее внутрь.

Я уже готова была сослаться на усталость — и тут кто же выступает из тьмы, окружающей «доходные дома Ленарда»? Тот самый молодой человек, который много месяцев назад избавил меня от ухаживаний Малыша Виктора. С той поры он несколько раз попадался мне на глаза, и я ожидала, что он возьмет у меня интервью для «Эры». Увы, он неизменно держался на почтительном расстоянии. Теперь, когда мы с ним поравнялись, он приподнял шляпу и, видимо, решив, что Дядюшка обращается со мной чересчур фамильярно, осведомился, все ли у меня в порядке. Дядюшка бросил на него высокомерный взгляд и прошел было мимо, но я приостановилась.

— Очень мило, что вы спросили, мистер...

— Джон Кри из «Эры».

— Всё в полном порядке, мистер Кри. Наш директор провожает меня к моему экипажу.

Достоинство, с которым я это сказала, произвело впечатление даже на Дядюшку. Однако впоследствии я часто вспоминала мистера Джона Кри.

## Глава 21

В то утро, когда с Карлом Марксом вели беседу полицейские детективы, Джордж Гиссинг сидел на своем привычном месте под куполом читального зала Британского музея. Два длинных стола в этом зале были зарезервированы для дам, и Гиссинг неизменно старался расположиться оттуда подальше. Не то чтобы он в каком-либо смысле был женоненавистником — отнюдь нет, — просто по молодости лет он ошибочно полагал, что поиск истины есть занятие аскетическое и монашеское, в котором тело человека просвечивается духом и всецело ему подчиняется. Да и сами его посещения читального зала отчасти объяснялись желанием на время избавиться от того, что вслед за Ницше, которого он недавно читал, он называл «присутствием женской воли». С его стороны это не было абстрактным умствованием, он действительно считал, что вся его жизнь разрушена присутствием одной вполне определенной женщины.

Это произошло с ним в восемнадцатилетнем возрасте; будучи прилежным и многообещающим студентом колледжа Оуэнса в Манчестере и готовясь к вступительным экзаменам в Лондонский университет, он повстречал Нелл Гаррисон. В свои семнадцать лет она уже была алкоголичкой и добывала деньги на спиртное занимаясь проституцией. После случайного знакомства в манчестерской пивной Гиссинг страстно в нее влюбился; он был идеалист и уверовал в то, что может в лучших театральных традициях «спасти» Нелл. Литература в то время значила для него все, и в образ любимой он вложил все свои устремления, замешанные на чувствительной прозе и драматургии. Возможно также, что ее имя вызвало в его памяти скитания бедной маленькой Нелл из читанной им в детстве диккенсовской «Лавки древностей», хотя более вероятно, что именно алкоголизм и проституция вызвали столь бурный отклик в душе юного романтика, жившего литературой: его заворожило существо, извергнутое из современного общества и словно сошедшее со страниц Эмиля Золя. Поэтому он был не прав, обвиняя в своих невзгодах ее одну, — отчасти они стали результатом его собственных ложных побуждений.

Трагедия его жизни случилась вскоре после их встречи. Он взялся кормить и одевать ее на свою скромную стипендию и даже купил ей



швейную машинку (тогда сравнительно новое изобретение), чтобы она могла зарабатывать шитьем. Но она пропивала все шиллинги, какие он наскребал, и постоянно требовала еще, поэтому он начал красть у своих однокашников по колледжу Оуэнса. Весной 1876 года он был изобличен администрацией колледжа, арестован и приговорен к месяцу принудительных работ в манчестерской тюрьме. Он был, возможно, самым одаренным и образованным студентом своего поколения, и вот все надежды на академическую и общественную карьеру рухнули в одночасье. После освобождения он отправился в Америку, но не нашел там заработка. И он вернулся в Англию — или, лучше сказать, к Нелл. Он не мог от нее избавиться — верней, не хотел избавляться, — и вдвоем они приехали в Лондон; они скитались по дешевым доходным домам, складывая пожитки всякий раз, когда род занятий Нелл становился известен. И все же он не бросал ее. Это выглядит как мелодрама с лондонской сцены, как пьеса, разыгрываемая на подмостках какого-нибудь «театра чувств» вроде «Космотеки» на Белл-стрит; но это подлинная история — самая подлинная из всех, какие Джорджу Гиссингу удалось создать в своей жизни. Он был рьяным филологом, не по годам зрелым знатоком языков и классики и, повернись судьба иначе, уже был бы принят в один из старинных университетов или читал бы лекции в новом Университетском колледже в Лондоне; а он вместо этого связался с вульгарной пьяницей и бесстыдной проституткой, похоронившей все надежды на карьеру, какие он мог питать. Вот в каком свете видел Гиссинг всю свою жизнь — и тем не менее весной 1880 года он женился на Нелл. И теперь, сидя в тепле читального зала, он думал о том, что даже законный брак не заставил ее отказаться от прежнего образа жизни.

Он, однако, не поставил еще крест на литературе; для заработка он давал уроки, но помимо этого он предполагал сочинять эссе и обзоры для лондонских периодических изданий. Эссе «Романтизм и преступление», к примеру, по мнению редактора «Пэлл-Мэлл ревью», имело очень большой успех, а теперь Гиссинг уже заканчивал черновой вариант статьи о Чарльзе Бэббидже. Кроме того, употребив кое-какие сбережения, он сумел весной этого года (всего через несколько дней после женитьбы на Нелл) опубликовать свой первый роман; он назывался «Рабочие на заре» и начинался фразой, которая

позже странным образом отозвалась в жизни автора: «Пройдитесь со мною вместе, читатель, по Уайт-кросс-стрит». К осени, однако, несмотря на сдержанные похвалы в «Академии» и «Манчестер экзаминар», было продано всего сорок девять экземпляров, и он понял, что в ближайшем будущем ему следует рассчитывать лишь на журналистику, сулящую более верный доход. Так что ради статьи он углубился в изучение примечательных изобретений Чарльза Бэббиджа.

Но Гиссинг не был математиком, и в тот момент он пробовал осмыслить идеи Бэббиджа о представлении чисел в контексте «исчисления счастья» Иеремии Бентама. Сопоставление может показаться натянутым и даже странным, но следует помнить, что интеллектуалы того времени сводили воедино естественные науки, философию и социальные теории с большей готовностью, чем это делается сейчас. Гиссинг как раз пытался соотнести концепцию «наибольшего добра» с последними исследованиями в области социальной статистики, делая особый упор на тех устрашающих числах, какие выдавала так называемая аналитическая машина Чарльза Бэббиджа. Во многих отношениях она превзошла современный компьютер: это было устройство, преобразующее числа и распределяющее их по сети механически связанных узлов. Главным мотивом для объединения трудов Бентама и Бэббиджа, какой Гиссинг мог извлечь из литературы по данному вопросу, было стремление вычислить размер нужды или несчастья в любом заданном районе и предсказать их возможное распространение. «Иметь точную информацию о положении людей, — писал один последователь Бентама в брошюре, озаглавленной „Ликвидация бедности в Лондоне и его окрестностях“, — значит создать условия для его улучшения. Для того чтобы понять, мы должны знать, а статистические данные суть самые надежные из всех данных, имеющихся в нашем распоряжении».

Разумеется, Гиссинг не понаслышке был знаком с бедностью и упадком морали; он жил среди всего этого с той поры, как приехал в Лондон с Нелл. Ему было лишь двадцать три года, но он уже написал: «Я уверен, что мало кто изведal в жизни столько горечи». Но при этом ему трудно было поверить, что если бы кто-то был «информирован» о его положении, оно хоть в каком-нибудь смысле стало бы легче; для него сделаться статистической единицей или объектом изучения означало пасть еще ниже. Он понимал, что здесь, несомненно,

сказывается его ранимый характер и уже намечающаяся склонность к уходу в себя; но были у него и более общие возражения. Иметь статистическую информацию не означает еще ни знать, ни понимать; это некое межеумочное положение, в котором наблюдатель по-прежнему отстоит от действительности на такое расстояние, с которого ее и не разглядишь как следует. Быть информированным, и только, значит, если хотите, не иметь ни ценностей, ни принципов, располагая лишь сумеречным представлением об очертаниях и размерах явлений. Гиссинг легко мог представить себе мир будущего, в котором все население будет разложено по полочкам согласно «исчислению счастья» Бентама или посредством вычислительных машин Бэббиджа — он даже обдумывал роман на эту тему, — но все это будет не более чем пассивная регистрация, бездушное освидетельствование жизни, нимало не затрагивающее подлинной ее сути. Вот где был корень трудностей, которые он испытывал при написании статьи.

Накануне он посетил мастерскую в Лаймхаусе, где была собрана последняя вычислительная машина Чарльза Бэббиджа. Еще в 1830-е годы ученый сумел сконструировать «разностную машину», которая могла вычислять не слишком сложные суммы, но вскоре им овладела идея создания гораздо более сложной аналитической машины, способной не только складывать, вычитать, умножать и делить, но и решать алгебраические уравнения; результаты вычислений предполагалось заносить на особые пластины-стереотипы. На эту-то машину и пришел посмотреть Гиссинг. Скорее писатель, нежели философ по складу дарования, он решил, что лучше всего сможет понять идеи Бэббиджа, воочию взглянув на его грандиозное творение. Мастерская, где, помимо помещения с вычислительной машиной, было еще два цеха, располагалась в дальнем конце улицы Лаймхаус-козуэй прямо за церковью Св. Анны. Говорили, что Бэббидж выбрал именно это место, потому что ему нравилась возведенная рядом с церковью большая белая пирамида, и один из друзей запомнил его замечание о том, что «число камней, необходимых для постройки треугольной пирамиды, может быть найдено путем простого сложения последовательных разностей, если разность третьего порядка постоянна». Друг этого утверждения не понял, и в любом случае истина лежит в более прозаической плоскости: имея опыт

сотрудничества с мистером Тернером, искусным механиком, жившим на Коммерциал-роуд, Бэббидж впоследствии купил строение недалеко от его дома, чтобы работа над новой машиной шла скорее. Гиссинг отыскал мастерскую без труда и был встречен престарелым Тернером, чьей обязанностью ныне, согласно завещанию Бэббиджа, было содержать машину в исправности «до тех пор, пока общество не будет вполне готово к ее использованию». Гиссинг предъявил ему письмо от редактора «Пэлл-Мэлл ревью», удостоверяющее личность визитера и его намерение написать о трудах Чарльза Бэббиджа; подобная предусмотрительность не была излишней, потому что весь тот год ходили слухи о шпионах, засылаемых из Франции с целью сбора сведений о механическом разуме. Мистер Тернер читал письмо что-то необычно долго, словно это был документ невесты какой сложности, затем со старомодным поклоном вернул его Гиссингу.

— Угодно ли вам посмотреть машину прямо сейчас? — был первый вопрос, который Тернер ему задал.

— Посмотрю с удовольствием. Очень благодарен. — Речь Гиссинга всегда звучала несколько отрывисто и нервно, что, вероятно, отражало сумятицу, которую он ощущал внутри себя.

— Тогда прошу проследовать за мной.

Они миновали старый цех, где сейчас явно никаких работ не велось; там царил безукоризненный порядок, деревянные столы были выскоблены, инструменты вычищены до блеска — словом, это был самый настоящий музей, посвященный творению Бэббиджа и Тёрнера. Здесь они вместе трудились над колесиками и винтиками, составившими так называемую «мельницу» (mill) вычислительной машины. Сэмюэл Роджерс, знаменитый остро слов, заявил, что устройство, видимо, получило это название в честь Джона Стюарта Милля;<sup>[17]</sup> но Бэббидж ответил ему, что он думал о мельницах Альбион-миле вдоль Вестминстер-бридж-роуд, на которые он заглядывался еще в детстве. Уже тогда вид этих мукомольных машин убедил его в благодетельности технического прогресса.

— Позвольте провести вас дальше, сэр. Смотрите под ноги, тут можно споткнуться.

Они вошли в большой зал, где громоздилась вычислительная машина Бэббиджа; свет, проникавший в расположенные под потолком псевдогоготические окна, поблескивал на деталях механизмов. Вот она,

мечта Чарльза Бэббиджа; компьютер, построенный более чем за сто лет до любого из его современных собратьев, мерцал, подобно галлюцинации, в сентябрьском свете 1880 года. Ученые и инженеры девятнадцатого столетия инстинктивно от него отшатнулись, не понимая даже, почему они так делают: эта машина явилась не ко времени и не могла еще обрести реального существования на земле.

Как же возник у ученого этот замысел? Один коллега, увидев Чарльза Бэббиджа в читальном зале Аналитического общества внимательно изучающим таблицы логарифмов, спросил его, какую проблему он пытается решить. «Я молю Бога о том, — был ответ, — чтобы все эти вычисления можно было выполнить силою пара». Это одна из самых замечательных фраз девятнадцатого века, и она косвенно перекликается с другим необычным высказыванием Бэббиджа. Он заявил в одном из сочинений, что «пульсации воздуха, раз приведенного в движение человеческим голосом, продолжаются бесконечно», и далее стал развивать свою мысль об этом непрекращающемся движении атомов. «С этой точки зрения, — писал он, — каким странным хаосом видится бескрайняя атмосфера, которой мы дышим! Каждый атом, равно чувствительный к добру и злу, хранит все движения, сообщенные ему философами и мудрецами, смешивая и комбинируя их на десятки тысяч ладов со всем, что звучит пустого и низкого. Воздух — это одна огромная библиотека, на чьих страницах навеки записано все, что когда-либо произнес мужчина и что когда-либо прошептала женщина». На Чарльза Диккенса, прочитавшего эти слова в «предуведомлении» Бэббиджа к изданию его «Девятого бриджуотерского трактата», взгляд, столь близкий его собственному, произвел глубокое впечатление. Он, несомненно, перекликается с диккенсовским образом Лондона, встающим со страниц «Холодного дома» и «Крошки Доррит»; однако наиболее ярко идеи Бэббиджа отразились в «Тайне Эдвина Друда» — неоконченном романе Диккенса, где постоянно звучит тема смерти и убийства и который начинается, что любопытно, в той самой части Лаймхауса, где находился теперь Джордж Гиссинг.

— Вот они, сэр, эти карты. — Мистер Тернер вынул из кармана несколько перфорированных цинковых пластин. — Некоторые — это карты переменных. Есть еще числовые и комбинаторные. Мистер Бэббидж использовал здесь принцип ткацкого станка.

Но Гиссинг смотрел на сам механизм. Он состоял из четырех отдельных секций, центральная из которых возвышалась на добрых пятнадцать футов; столь влекуще-враждебным показалось Гиссингу это сооружение из стержней, колес и пластин, что он вдруг захотел пасть на колени и вознести молитву этому странному новому божеству. Как такое могло воздвигнуться посреди суеты Лаймхауса?

— А сердце машины здесь, сэр. — Мистер Тёрнер подошел к самой большой секции и мягко дотронулся до длинной вертикальной оси с колесами и картами. — Мистер Бэббидж разработал механизм, позволяющий машине использовать предшествующие вычисления. Она запоминает их результаты и, следовательно, может предвосхищать движение чисел. Согласитесь, это красиво.

— Чрезвычайно остроумная идея. — Гиссинг весьма смутно понимал то, что слышал, и машина представлялась ему, как и другим современникам, неким диковинным чудищем; только что, готовя статью для «Вестминстер ревью», он прочитал очерк Суинберна об Уильямс Блейке, и ему пришла в голову параллель с «пророческими книгами» Блейка. Оба эти создания — аналитическая машина и безумные стихи Блейка — равно казались ему созданиями чудаков, одержимых, творивших то, что лишь они сами могли понять в полной мере.

— Мельница включает в себя десять различных устройств, среди которых цифровой счетный механизм, механизм воспроизведения и комбинаторный счетный механизм. Посредством этих зубчатых реек и зацепов, сэр, каретки машины сдвигаются вверх или вниз. Карты толкают рычажки, а они в свою очередь вращают вот эти колесики.

— Все это трудно постигнуть человеку вроде меня. Тут надо с головой погрузиться в тайны механики.

— Но если вы хотите писать...

Гиссинг предвидел упрек подобного рода.

— Вы правы, конечно. Но моя цель — осмыслить социальную философию мистера Бэббиджа, которая, я уверен, кроется за всеми этими расчетами. Верно ли, что он был филантропом, искавшим наибольшее добро в наибольшем из чисел?

— Он думал об этом постоянно. Он приходил сюда за два дня до смерти, сэр, понаблюдать за изготовлением новых цинковых карт.

Мысли — только о деле, как всегда. Что бы ни было. Человек неиссякаемой энергии.

— Он умер восемь лет назад — или девять?

— В октябре тысяча восемьсот семьдесят первого года. Я двадцать лет был у него в мастерах, сэр, и видел, как ему мешали, как его клевали со всех сторон чиновники и профессора, которые его не понимали. Это был высокий ум, сэр, и, естественно, вызывал подозрение у низших. Он замышлял огромную аналитическую машину, чтобы помогала управляться с делами всего государства, но не вышло. Видите, я подхожу к тому, что вас интересует.

Гиссингу было ясно, что он имеет дело не с простым мастером; этот человек, безусловно, разделял идеи, воодушевлявшие его нанимателя.

— Тут у нас в Лаймхаусе много творится всего нехорошего, как вы, наверно, знаете. Пройдешь только по нашей улице — и уже насмотришься такого, чего в христианской стране человеку и видеть-то не полагается.

Женщины себя выставляют на продажу прямо у стен церкви, тут напротив. — Тернер не мог, конечно, предполагать, что его собеседник женат на женщине такого сорта. — А теперь еще эти жуткие убийства.

— Раствление, конечно, всюду существует. Но в таком месте, как это, нужда дает ему питательную почву.

— Вот к этому-то я и клоню, сэр. И мистер Бэббидж был такого же мнения: если только мы сможем высчитать область распространения и скорость роста нищеты, то сможем потом и принять меры, чтобы облегчить людям жизнь. Я много лет живу на Коммершиал-роуд, сэр, и уверен, что, имея данные и подходящую систему нотации, мы могли бы справиться со всеми бедами.

Нельзя сказать, что Тернер здесь передает слова своего вдохновителя буквально; тот писал, что «ошибки, которые проистекают из неверных рассуждений, игнорирующих истинные данные, гораздо более многочисленны и стойки, чем те, что случаются из-за недостатка фактов». Бэббидж далее говорит о достоинствах «механической нотации», которую можно использовать для создания таблиц, содержащих «атомный вес веществ, их плотность, модуль упругости, удельную теплоемкость, электрическую проводимость, температуру плавления, удельный вес различных газов и твердых тел,

прочность различных материалов, скорость полета птиц и бега животных...». Таков был в его глазах образ мира, в котором все явления подлежали кодированию и табуляции; образ этот, как некий голем, магически воздвигся здесь, в Лаймхаусе, среди недугов и невзгод.

Гиссинг пытливо вглядывался в грандиозную машину: способно ли это громадное и хитроумное устройство стать подлинным проводником прогресса и усовершенствования? Нет, поверить в это было трудно. Иначе разве он чувствовал бы себя здесь таким подавленным, таким скованным? Он устал и был голоден (кроме куска хлеба с маслом, он с утра ничего не ел), но в ослабленность его внезапно вторглось иное, резкое и тревожное чувство. На миг ему почудилось, что перед ним не машина, а металлический демон, вызванный к жизни угрюмыми людскими вожделениями. Но вот тревога прошла, и он попытался взглянуть на вещи более трезво. Он не больше верил в прогресс, чем в науку, и не мог вообразить такого мира, в котором либо то, либо другое стало бы безусловной силой. Всю жизнь он был бедным человеком, сейчас они с Нелл ютились в мансарде поблизости от Тотнем-корт-роуд, но ни в малейшей степени он не разделял веру в то, что городская бедность каким-то чудом может быть уничтожена или хотя бы уменьшена. Он достаточно хорошо знал Лондон, чтобы чувствовать, что помочь тут ничем нельзя. Он считал себя, как тогда говорили, «индивидуалистом», понимающим истинную суть мирового порядка. Вопреки ассоциациям, рождаемым заглавием его первого романа «Рабочие на заре», на деле Гиссинг не был ни радикалом, ни филантропом; он не испытывал подлинной жалости к страдающим беднякам — верней, испытывал ее только в форме жалости к себе — и позднее написал: «Меня всегда бесконечно восхищала способность людей подчиняться условиям жизни». Он написал также, что «страдания и горести — величайшие Метафизические Врачеватели». Здесь можно увидеть попытку оправдать и пережить собственную неудачу на академическом поприще, но в любом случае такого человека трудно было убедить в эффективности аналитической машины. Почему же тогда, глядя, как она тускло блестит в осеннем свете восточного Лондона, он ощутил такой страх? Он почувствовал, что увиденного ему довольно. Поблагодарив мистера Тернера, он вышел на Лаймхаус-козуэй.



На улице мужчина и женщина колошматили друг друга, и, проходя мимо, он уловил недвусмысленный запах пьяниц — запах, хорошо ему знакомый. Потом над его головой распахнулось окно и раздался женский крик: «В последний раз чтоб такое, а то убирайся отсюда!» Таковы были привычные Гиссингу «условия жизни», но ему следовало понять, что ровно те же самые «условия» породили гигантскую машину, которую он только что осматривал. Существовала глубинная связь между стоящим в мастерской огромным компьютером и самой атмосферой Лаймхауса. Он мог бы обратить внимание, к примеру, на белую пирамиду рядом с церковью Св. Анны, производшую впечатление на самого Чарльза Бэббиджа. Путешествие в мир лондонских тайн могло бы тогда начаться с этой пирамиды и аналитической машины; и то, и другое имело прямое отношение к людскому горю и к стремлению очиститься и спастись. Воистину могла бы получиться история возникновения современного компьютера — часть повествования, куда более необычного и мощного, чем «Рабочие на заре».

В романах, которые Гиссинг написал впоследствии, нередко удивительные совпадения и случайные встречи; когда его об этом спрашивали, он обычно отвечал, что «так оно и бывает» или что «так устроена жизнь». В этом, возможно, он прав, но сыграл свою роль здесь и личный опыт: вот, к примеру, теперь, идя по Лаймхаус-козуэй в направлении Скофилд-стрит, он вдруг увидел, как впереди перебежала дорогу его жена. Он не видел ее уже три дня, но ему было не привыкать к ее внезапным отлучкам. Не дав себе времени подумать, что ее могло сюда привести, он громко закричал: «Нелл!» Женщина повернула голову, затем скрылась в переулке. Он последовал за ней как мог быстро, но, когда он дошел до переулочка, она уже скрылась в лабиринте ветхих строений, нависавших там с обеих сторон. Он не мог просто уйти, оставив ее здесь; уразумев, что она пытается заработать на выпивку прежним способом в отдаленной от их жилья части города, он, не выбирая, открыл ближайшую дверь и вошел в дом. Стал всматриваться в уходящую вверх узкую лестницу, потом поднялся на несколько ступенек, оглянулся — и увидел в дверном проеме свою жену, кинувшуюся обратно на улицу. Выскочив следом, он увидел, что она убегает в северном направлении; погоня была долгой, но он не упускал ее из виду, пока она, миновав Фор-лейн, не

очутилась на Уайткросс-стрит. Там она вошла в неказистый дом. Гиссинг притаился на другой стороне улицы в кофейной лавчонке. Пока он стоял и ждал, прошел уличный оркестр, вызвавший в окрестных тавернах и пивных такое оживление (там рады бывают чему угодно), что Гиссинг испугался, не шмыгнула ли Нелл под шумок в ближний двор или переулок. Он медленно пошел к дому, но вдруг, в приливе бешенства из-за поведения жены, принялся стучать в дверь изо всей силы. Ему немедленно открыла небольшого роста миловидная молодая особа, странным образом одетая в амазонку.

— Нечего так колошматить, — сказала она бесцветным лондонским голосом. — Чего вы хотите?

— Нелл здесь?

— Что еще за Нелл? Нелл Гвин?<sup>[18]</sup> Не знаю никакой Нелл.

— Среднего роста, волосы каштановые. И у нее брошка на платье, брошка в виде скорпиона. — Эту брошку он подарил ей на свадьбу всего несколько месяцев назад. — Она ее носит слева. — Он поднес руку к своей груди. — Вот здесь.

— Тут много бывает девушек — приходят, уходят. Но такой не припомню.

— Очень вас прошу. Это жена моя.

Все это время она смотрела через его плечо на толпу, которую собрал оркестр, игравший теперь у мясного ресторанчика; однако в какой-то миг, хотя она молчала, ему почудился в ее глазах проблеск сочувствия.

— Послушайте, если вы ее увидите или что-нибудь о ней узнаете, дайте мне, пожалуйста, знать.

Он вынул блокнот, в котором делал записи относительно аналитической машины Бэббиджа, написал на листочке свою фамилию и адрес, вырвал его и дал ей.

— Будьте уверены, я вам заплачу за любую помощь.

Она сложила бумажку и сунула ее в сборчатый карман амазонки.

— Что сумею, то сделаю. Но обещаться не могу.

Он оставил ее и пошел домой на Тотнем-корт-роуд, проникнутый унылым сознанием того, что на всю жизнь он теперь привязан к этим обшарпанным улицам, где вынужден сводить знакомство с промышляющими на них падшими женщинами. Что толку в литературе, в высоких устремлениях перед лицом подобных

обстоятельств? Что пользы в аналитической машине со всеми ее таблицами и системами нотации? Одна лишь польза, пожалуй, — напомнить ему, что он такое есть: число, единица, один из восемнадцати процентов горожан, больных в данный момент времени, и один из тридцати шести процентов, зарабатывающих меньше пяти гиней в неделю. Не был он никаким литератором, по крайней мере в продолжение этого жуткого пешего пути домой (на омнибус он решил не тратиться), очертившего пределы его мира.

Но на деле Гиссинг достиг большего, чем он предполагал. Его эссе о Чарльзе Бэббидже, вскоре появившееся в «Пэлл-Мэлл ревью», породило немало размышлений и, в частности, плодотворно повлияло на Герберта Уэллса, прочитавшего его еще школьником. На эссе также обратил внимание Карл Маркс, написавший в последний год своей жизни три коротких абзаца о пользе, которую можно извлечь из аналитической машины для международного коммунистического движения. Эти мысли, сохранившиеся среди посмертных бумаг, были подхвачены спустя примерно сорок лет, когда коммунистическое правительство Советского Союза решило субсидировать разработку экспериментальной арифметической машины. В этом смысле можно сказать, что путешествие полуголодного писателя в Лаймхаус оказало воздействие на ход мировой истории; интересно также отметить, что записи Маркса по поводу изобретения Чарльза Бэббиджа обсуждались в 1934 году в Москве во время встречи Герберта Уэллса со Сталиным.

Впрочем, визит Гиссинга в Ист-Энд имел и более близкие последствия. Следующей жертвой Голема из Лаймхауса после Джейн Квиг и Соломона Вейля стала женщина, открывшая Гиссингу дверь дома на Уайткросс-стрит. Именно ее, зверски обезображенную, убийца оставил прислоненной к белой пирамиде подле церкви Св. Анны в Лаймхаусе. В полицейском рапорте о преступлении было отмечено, что, когда ее нашли, ее взгляд был устремлен на церковь; в те годы — видимо, под неосознанным влиянием старинных суеверий — положению глаз убитого человека придавали немалое значение. Даже позднее их фотографировали на случай, если поверье о том, что в них можно разглядеть лицо убийцы, вдруг подтвердится. В данном случае, однако, полицейский рапорт страдает неточностью. Элис Стэнтон смотрела не на церковь, а на здание позади нее — она смотрела на мастерскую, где ждала начала своей жизни аналитическая машина.

Часть разорванной амазонки все еще была на ней, отдельные клочья и детали костюма были разбросаны вперемешку с органами тела. Неизвестно было, почему она носила именно этот наряд — для того, видимо, чтобы возбуждать наиболее изощренных клиентов, — и до поры также было неясно, где она его раздобыла. Оказывается, в свое время он принадлежал Дэну Лино; в этом наряде артист изображал наездницу и в несуществующем дамском седле скакал на несуществующей лошади по кличке «Тед, коняга из упрямых». Погибшая женщина купила амазонку у торговца подержанным платьем, чей магазин на Рэтклиф-хайвей уже посетил однажды Джон Кри.

## Глава 22

*20 сентября 1880 года.*

Итак, ее нашли около церкви, подлинную невесту Христову, распростертую на камнях в позе молитвенного смирения. Она родилась заново. Я крестил женщину в ее же крови и стал ее спасителем. Может быть, облик, которым меня наделили популярные листки, не так уж и нелеп; в конце концов, прозвание Голем из Лаймхауса несет в себе и некий духовный смысл. Мне дали имя мифического существа, и приятно сознавать, что великие преступления немедленно обретают жизнь в высших сферах. Я не убиваю, нет. Я воскрешаю легенду, и мне будут прощать всё, пока я остаюсь верен своей роли.

Я прошелся сегодня к месту моего последнего явления, случившегося вчера вечером, и с удовольствием увидел, как некие молодые люди рвут пучки травы и подбирают камушки там, где пролилась кровь. Можно, конечно, предположить, что они служат по полицейской части, но я предпочитаю верить, что они причастны к изящному искусству ворожбы. Высушенная кровь убитого считалась в свое время средством против всякой беды, и я покинул место события в счастливом сознании того, что эти терпеливые труженики благодаря моим усилиям смогут заработать кое-какие пенсы. Я смотрю на них как на моих последователей, которые достигают этими трудами большего, чем полицейские, унижающие меня своими ухищрениями и расследованиями. Что могут знать об истинной природе убийства те, кто окружает его коронерами и ищейками? Если уж псы, то пусть будут псы преисподней.

Дальнейший мой путь лежал вдоль славной улицы Рэтклиф-хайвей; вскоре, надеюсь, слава ее увеличится и сравняется со славой Голгофы или того ацтекского жертвенного поля, что так ярко описал мистер Пэрри в июльском номере «Пенни мэгэзин». Я, как добрый священнослужитель, направил свои стопы к алтарю, где семья Марров была повергнута в глубокий сон. Уже знакомый мне продавец одежды копошился там среди своих рубашек и платьев, и, войдя в магазин, я приветливо с ним поздоровался.

— Помню вас, сэр, — сказал он. — Вы хотели что-то купить для служанки, но не подобрали ничего подходящего.

— Верно, и теперь вот снова к вам. В наши дни слуги вертят нами, как хотят.

— Согласен с вами, сэр. У меня тоже есть служанка.

Я наострил уши.

— И жена, кажется, тоже? В прошлый раз, помнится, вы о ней говорили.

— Не нарадуюсь на нее.

— И о детях вы упоминали.

— Трое у меня, сэр. Все, слава богу, здоровы.

— Детская смертность в этой части города так высока, что вам, можно сказать, везет. Здесь, в Лаймхаусе, я много раз сталкивался с бедой.

— Вы врач, сэр?

— Нет, я, что называется, местный историограф. Я очень хорошо знаю этот район. — Он, мне показалось, несколько стушевался, и я решил взять быка за рога: — Вы, может быть, слыхали, что с этим домом связана одна история?

Он на мгновение поднял глаза к потолку, над которым благоденствовала его семья, и приложил палец к губам.

— Прошу вас, сэр, не говорите об этом. Из-за несчастливых обстоятельств мне дешево продали этот дом, но у моей милой жены на сердце до сих пор беспокойно. А тут еще эти убийства...

— Ужас.

— Именно так я сказал себе, сэр. Ужас. Как они его называют? Голдман из Лаймхауса?

— Голем.

— Странное имя — должно быть, еврей или иностранец.

— Нет. Не думаю. По-моему, это дело рук англичанина.

— Трудно поверить, сэр. В старину — другое дело, но чтобы в нынешнее время...

— Всякое время для кого-нибудь нынешнее, мистер... Как прикажете вас называть?

— Джеррард, сэр. Мистер Джеррард.

— Ладно, мистер Джеррард, довольно пустой болтовни. Могу я купить что-нибудь для служанки?

— Конечно. Есть несколько милых вещиц, я их получил совсем недавно.

Я поиграл с ним еще какое-то время, пересмотрел несколько тряпок, выставяемых на потребу женским капризам. Уходя с крашеной хлопчатобумажной шалью, я знал, что вернусь скорее, чем думает мистер Джеррард.

*21 сентября 1880 года.*

Ясный холодный день без малейшего следа тумана или мглы. Подаренная мною шаль стала для жены немалым сюрпризом; это такая любящая, преданная душа, что так и хочется немножко ее побаловать. Поэтому, когда она опять стала упрашивать меня сводить ее в «Оксфорд» на Дэна Лино, я уступил. «Мне на следующей неделе предстоит одна работа, — сказал я. — Но когда я кончу, поедем». Именно в этот миг меня посетила странная фантазия: что, если я сделаю ее зрительницей одного из моих грандиозных спектаклей? Оценит ли она его по достоинству?

## Глава 23

**Мистер Листер.** Благодарю вас за рассказ о ваших юных годах, миссис Кри. Всем теперь должно быть ясно, что можно играть на сцене и вести добродетельную жизнь. Но я хотел бы вернуться к другой теме. Вы говорили, что ваш муж мучился тревожными фантазиями. Можете вы что-нибудь к этому добавить?

**Элизабет Кри.** Только то, что в последний месяц он был особенно — не подберу никак слово, — особенно беспокоен.

**Мистер Листер.** Вы имеете в виду сентябрь прошлого года?

**Элизабет Кри.** Да, сэр. Однажды он пришел ко мне и стал просить прощения. Я спросила: «За что?» Он ответил: «Не знаю. Я не сделал ничего дурного и все-таки кругом виноват».

**Мистер Листер.** Вы утверждали, что он был очень мрачным католиком.

**Элизабет Кри.** Да, сэр, именно так.

**Мистер Листер.** Следовательно, вы, прожив с ним в браке много лет, твердо убеждены, что он покончил с собой, страдая от некоторых ложных представлений?

**Элизабет Кри.** Да, сэр, убеждена.

**Мистер Листер.** Спасибо. Больше у меня нет пока вопросов.

*Стенографический отчет в «Иллюстрийтед полис ньюс ло корте энд уикли рекорд» продолжается допросом, которому миссис Кри подверглась со стороны обвинителя — мистера Грейторекса.*

**Мистер Грейторекс.** Он принял яд у вас на глазах?

**Элизабет Кри.** Нет, сэр.

**Мистер Грейторекс.** Кто-нибудь другой это видел?

**Элизабет Кри.** Насколько я знаю, нет.

**Мистер Грейторекс.** Эвлин, ваша служанка, рассказала суду, что обычно по вечерам вы готовили мужу некое питье.

**Элизабет Кри.** Просто успокаивающее, сэр. От его мучительных снов.

**Мистер Грейторекс.** Пусть так. Но ведь если, как вы показали, он каждый вечер выпивал бутылку портвейна, разве ему требовалось еще



успокаивающее?

**Элизабет Кри.** Он считал, что оно ему нужно. Он много раз мне это говорил.

**Мистер Грейторекс.** Какие медикаменты входили в состав этого успокаивающего питья?

**Элизабет Кри.** Там было снотворное, сэр, которое я постоянно покупала в аптеке. Называется «порошок доктора Мергатройда». Оно считается совершенно безвредным.

**Мистер Грейторекс.** Об этом предоставьте судить другим, миссис Кри. Правильно ли я понял, что именно об этом порошке говорила ваша служанка?

**Элизабет Кри.** Простите, сэр?

**Мистер Грейторекс.** Она сообщила полицейским детективам, что видела, как вы подмешивали в питье некое белое вещество.

**Элизабет Кри.** Да. Порошок доктора Мергатройда белого цвета.

**Мистер Грейторекс.** Но перед кончиной вашего мужа этот, как вы утверждаете, успокаивающий порошок не только не успокоил его, но, напротив, вызвал сильнейшие желудочные боли и обильное потоотделение. Верно?

**Элизабет Кри.** Я сказала уже, сэр, что, как я думала, он страдал желудочным воспалением.

**Мистер Грейторекс.** Вы как будто получили большое наследство?

**Элизабет Кри.** Всего лишь скромный доход, сэр.

**Мистер Грейторекс.** Вы так уже говорили. Но девять тысяч фунтов в год трудно назвать скромным доходом.

**Элизабет Кри.** Я имела в виду, что мне из этой суммы достается только скромная часть. Я состою в Обществе вспомоществования бедным детям, и большая часть денег идет нуждающимся и обездоленным.

**Мистер Грейторекс.** Но вы сами теперь не нуждаетесь и не обездолены.

**Элизабет Кри.** Нет, если не считать того, что я обездолена утратой мужа.

**Мистер Грейторекс.** Но давайте вернемся к тому роковому вечеру, когда он рухнул на пол вашего особняка в Нью-кросс.

**Элизабет Кри.** Это не назовешь приятным воспоминанием, сэр.

**Мистер Грейторекс.** Безусловно, но потерпите, прошу вас, еще некоторое время. Вчера, помнится, вы сказали, что за ужином, до того, как ваш муж ушел к себе в комнату, вы вели с ним долгий разговор.

**Элизабет Кри.** Мы всегда разговаривали, сэр.

**Мистер Грейторекс.** Не припомните ли, на какие темы?

**Элизабет Кри.** Мы разговаривали на темы дня.

**Мистер Грейторекс.** У меня все на этот раз. Можно ли теперь вызвать Эвлин Мортимер?

*Стенографический отчет в «Иллюстрейтед полис ньюс ло корте энд уикли рекорд» рассказывает о том, как Эвлин Мортимер вызвали на свидетельское место, где она перед дачей показаний принесла обычную клятву на Библии и ответила на рутинные вопросы: фамилия, возраст, замужем или нет, адрес. Имеется даже ее ксилографическое изображение: она стоит в скромной шляпке и держит в правой руке перчатки.*

**Мистер Грейторекс.** Были ли вы дома, мисс Мортимер, в тот вечер, когда мистера Кри нашли в его комнате?

**Эвлин Мортимер.** Да, сэр.

**Мистер Грейторекс.** Ужин подавали вы?

**Эвлин Мортимер.** Да. Была фаршированная телятина, сэр, как всегда по понедельникам.

**Мистер Грейторекс.** Довелось ли вам услышать что-нибудь из разговора за столом между мистером и миссис Кри?

**Эвлин Мортимер.** Он назвал ее дьяволом, сэр.

**Мистер Грейторекс.** Вы не шутите? А припомните поточней, пожалуйста, при каких обстоятельствах это было сказано.

**Эвлин Мортимер.** Это было в начале ужина, сэр, когда меня позвали принести суп. Мне кажется, они говорили о чем-то, что было в газетах, потому что, когда я вошла в комнату, мистер Кри бросил номер «Ивнинг пост» на пол. Он был очень взволнован, сэр.

**Мистер Грейторекс.** И потом назвал миссис Кри дьяволом? Прямо так и назвал?

**Эвлин Мортимер.** Он сказал: «Ты дьявол! Вот кто ты есть!» Потом он увидел, что я вхожу в комнату, и молчал, пока я не ушла.

**Мистер Грейторекс.** «Ты дьявол. Вот кто ты есть». Как вы думаете, что он хотел этим сказать?

**Эвлин Мортимер.** Не знаю, сэр.

**Мистер Грейторекс.** Может быть, он хотел сказать: «Вот кто ты есть — отравительница собственного мужа».

**Мистер Листер.** Это в высшей степени неправомерно, господин судья. Он не должен подталкивать свидетельницу к подобного рода сомнительным умозаключениям.

**Мистер Грейторекс.** Прошу прощения, господин судья. Я снимаю этот вопрос. Позвольте мне, мисс Мортимер, спросить вас вот о чем: можете ли вы хоть как-нибудь объяснить, почему мистер Кри вздумал назвать жену дьяволом?

**Эвлин Мортимер.** Могу, сэр. Она очень недобрая женщина.

## Глава 24

Джордж Гиссинг вернулся к себе домой на Хэнуэй-стрит близ Тотнем-корт-роуд без всякой надежды застать жену на месте; он видел Нелл на улицах Лаймхауса и прекрасно понимал, что, несмотря на их недавнее бракосочетание, она теперь может быть только в каком-нибудь отвратительном притоне или поблизости от него. Он не знал, долго ли их еще будут терпеть на этой квартире, если она опять явится пьяная; домохозяйка миссис Ирвинг, которая жила на первом этаже, уже предлагала им подыскать себе другое жилье. Однажды вечером, кинувшись на подозрительный звук, она увидела Нелл, лежащую на лестнице в бесчувственном состоянии и распространяющую сильный запах джина; на вопрос хозяйки «Да что же это творится такое?» Гиссинг ответил, что жену задел двухколесный экипаж и ей дали глотнуть спиртного, чтобы она оправилась от испуга. За последние годы он научился непринужденно лгать. Помимо прочего, он понимал, что миссис Ирвинг боится, как бы они, по тогдашнему выражению, не «прогулялись при луне», то есть не съехали ночью, не заплатив; он подозревал, что каждую ночь она чутко прислушивается, готовая пресечь поспешный отъезд.

И при этом она не то чтобы очень уж баловала своих жильцов: грубая деревянная мебель, кровать, умывальник — вот и вся обстановка. Можно было бы предположить, что молодой человек, обладающий обостренной чувствительностью Гиссинга, найдет эти условия невыносимыми, но он привык довольствоваться малым. Иные принимают подобные обстоятельства с вялой покорностью и сознанием поражения, которые им очень трудно, если вообще возможно, перебороть; Гиссинг и сам вывел такой характер в первом своем романе, показав, как среда постепенно низводит человека до своего уровня. Однако есть и другой тип людей — эти настолько полны энергии и оптимизма, что обращают на условия жизни совсем мало внимания и, можно сказать, слепы к настоящему, поскольку всецело устремлены в будущее. Станным образом Джордж Гиссинг сочетал в себе оба эти типа; порой подавленность и безразличие овладевали им настолько, что лишь угроза близкого голода возвращала его к труду; но бывали времена, когда мечта о литературной славе

возносила его в такую высь, что он совершенно забывал о бедности и жил сладостной перспективой будущей популярности и признания.

Было при этом в его отношении к окружающему и другое; иногда он смотрел на свою жизнь как на некий эксперимент, как на сознательное и добровольное погружение в «реализм». Читая сборник эссе Эмиля Золя под названием «Экспериментальный роман», опубликованный несколько месяцев тому назад, Гиссинг увидел в нем подтверждение своей подспудной веры в *naturalisme, la verite, la science*<sup>[19]</sup>. — подтверждение столь весомое, что он поздравил себя: оказывается, жизнь, которую он ведет, чрезвычайно современна и, можно сказать, литературна. В этом свете даже Нелл выглядела героиней нового века. Была только одна неувязка — само собой, стилистического свойства: при всем интересе Гиссинга к натурализму и неприкрашенной реальности его собственная проза была романтической, риторической и картинной. Например, в романе «Рабочие на заре» он погрузил город в некое радужное сияние и превратил его жителей в театральных героев и статистов на манер «чувствительных» пьес в дешевых театриках. Даже сейчас, усевшись в своей каморке и начав просматривать беглые заметки об аналитической машине Чарльза Бэббиджа, он мог бы заметить, что живописует ее «громоздящимся вавилонским идолом», который «глядит с высоты на зыблющиеся массы». Реалисты таким языком не писали.

Он не мог, однако, приниматься за эссе на голодный желудок. Дома ничего съестного не нашлось, если не считать ломтика несвежей ветчины, оставленного подле умывальника; поэтому он решил, что позволит себе посетить мясной ресторанчик на углу Бернерс-стрит, где, он знал, можно поужинать меньше чем за шиллинг. Не сказать, что роскошное заведение — его облюбовали местные кебмены, которые захаживали около полудня съесть кусок пирога и хлебнуть портеру, — но Гиссинга оно вполне устраивало. Там ему никто не мешал (если, конечно, не считать спорадических рейдов молодого официанта), и он мог вволю писать, мечтать, вспоминать. Ресторанчик жаловали также актеры, выступавшие в мюзик-холле «Оксфорд» дальше по улице, и Гиссинг часто мог наблюдать, как более удачливые подкармливали тех, кто сидел, как говорится, «на мели»; он хотел даже написать роман на материале мюзик-холлов, но в последний момент рассудил, что это

слишком легкомысленная тема для серьезного художника. Итак, нынешний вечер он проводил, сидя в ресторанчике и раздумывая над изобретениями Чарльза Бэббиджа. Ожидая, пока его обслужат, он уже набросал абзац о природе современного общества, почти дословно предвосхитивший высказывание Чарльза Бута, который девять лет спустя в книге «Жизнь и труд жителей Лондона» писал о «численном соотношении, в котором бедность, лишения и порок находятся к регулярному заработку и относительному благополучию». На Лондон предполагалось наложить некую статистическую сетку, и в последующие два дня Гиссинг сочинил эссе, в котором попытался объяснить роль информации и статистики в современном мире. Вопреки своим ощущениям он превознес там достоинства аналитической машины.

Нелл ночевать не пришла, и он заснул крепким сном среди шумов Тотнем-корт-роуд. Проснувшись на рассвете, он позавтракал хлебом и чаем и без десяти минут девять отправился в читальный зал Британского музея. Он и жить-то стал в этом районе только потому, что было близко к библиотеке, и всегда считал именно эту часть Лондона своим истинным домом. Он родился в Уэйкфилде, побывал в Америке, жил в Ист-Энде и на южном берегу Темзы, но лишь на маленьком клочке земли вокруг Коптик-стрит и Грейт-Расселл-стрит он чувствовал себя вполне свободно. Некий, казалось ему, дух этой округи оказывал на него чрезвычайно глубокое воздействие. Даже лавочники и мастеровые, мимо которых он проходил по пути к музею, — продавец географических карт, торговец зонтиками, точильщик, — даже они словно бы разделяли его привязанность к окрестным улицам и дышали с ним в лад. Зная в лицо местных возчиков и кебменов, уличных музыкантов и лоточников, он считал их членами некоего братства, к которому принадлежал и сам.

Конечно, характеристика той или иной части города — дело сложное и рискованное. Не раз отмечалось, к примеру, что поблизости от Британского музея и его знаменитой библиотеки на удивление много магических обществ и магазинов оккультной литературы; сам Ричард Гарнетт, директор читального зала в те годы, увлеченно занимался астрологией и весьма резонно замечал, что сверхъестественное — просто-напросто то, «что еще не всеми признано». Мистер Гарнетт мог бы поразмышлять о совпадении,

произошедшем в то сентябрьское утро: на протяжении часа в читальный зал вошли Карл Маркс, Оскар Уайльд, Бернард Шоу и Джордж Гиссинг. Впрочем, выводы, которые делаются в подобных случаях, всегда шатки; связь между оккультными магазинами и Британским музеем можно объяснить и тем, что библиотеки — обычное прибежище одиночек и неудачников, которые, с другой стороны, часто тянутся к магии, замещающей для них реальную власть и влияние.

Читальный зал открылся в девять часов утра, и Гиссинг вошел в него в числе первых; он немедленно направился к своему привычному месту и продолжил работу над эссе о Чарльзе Бэббидже. Сидя за письменным столом, он не вспоминал о Нелл вовсе, потому что в этом месте чувствовал себя защищенным от вульгарностей жизни, которую принужден был вести за стенами библиотеки; здесь он мог на равных говорить с великими авторами прошлого и примерять к себе их судьбу. Он работал до вечера, исписывая страницы своей тетради водянистыми черными чернилами, предоставляемыми библиотекой; оканчивая черновики своих эссе, он всегда подписывал и датировал их и, завершив подпись росчерком, прохаживался под куполом зала, чтобы отдохнуть от напряженной работы.

Он вышел из музея уже в сумерках и купил каштанов у продавца, который осенью и зимой неизменно стоял у входа со своей жаровней. Он прошел мимо подростка-газетчика, но не обратил внимания на его сиплый крик: «Ужасное убийство!» Повернув на Хэнуэй-стрит, он увидел у двери своего дома двоих полицейских. Он подумал, что с его женой, по всей видимости, неладно, и, странным образом, не почувствовал никакого волнения.

— Вы ко мне? — спросил он одного из полицейских. — Я муж миссис Гиссинг.

— Мистер Гиссинг, стало быть.

— Да. Именно.

— Поднимемся тогда к вам, сэр.

К удивлению Гиссинга, его повели по лестнице к его комнате, точно арестанта; еще не дойдя до своей двери, он услышал голос Нелл, вступившей с кем-то в яростную перепалку. «Сволочуга! — кричала она. — Сволочуга!»

Он прикрыл на секунду глаза, прежде чем войти в комнату, которую он так хорошо знал, но которая теперь показалась совсем иной. Его жена была там с еще одним полицейским, но напрасно он боялся, что она задержана, взята под стражу. До его появления она плакала и, судя по запаху, пила джин, но когда он вошел, она посмотрела на него с каким-то необычным интересом.

— Вы и есть Гиссинг? — спросил третий полицейский.

— Я уже сообщил этим джентльменам мою фамилию.

— Вы знали такую Элис Стэнтон?

— Нет. Никогда не слышал этого имени.

— Значит, вам неизвестно, что вчера вечером она была убита?

— Неизвестно.

Гиссинг терялся в догадках все более и более; он опять посмотрел на жену, которая медленно качала головой с непонятым для него выражением на лице.

— Можете ли вы объяснить, где вы были вчера вечером?

— Я был здесь. Работал.

— Только и всего?

— Достаточно, по-моему.

— Вашей жены, надо полагать, с вами не было?

— Миссис Гиссинг... — Вопрос был щекотливый, но он подумал, что полицейским наверняка уже известна ее профессия. — Миссис Гиссинг была у друзей.

— Этому можно поверить.

Гиссинг видел, что эти люди не знают, как к нему обращаться. Он был чувствителен к такого рода нюансам и верно догадался, что они сбиты с толку его обращением: жена — вульгарная проститутка, а в нем при этом разговор и одежда (потертая, но чистая) выдают джентльмена. Впрочем, его положение было не лучше: они расположились в его комнате, а ему все еще было невдомек, зачем они пожаловали.

— Нам, мистер Гиссинг, нужно задать вам несколько вопросов, но здесь это будет неудобно. Поэтому попросим вас проехать сейчас с нами.

— Могу я отказаться?

— Не можете. Дело такого рода...

— Какого, собственно, *такого* рода?



Не дав ответа, они вывели его на улицу, где ждал закрытый экипаж. Нелл осталась дома, и когда он обернулся, чтобы взглянуть на нее, полицейские сказали, что она уже «опознала тело».

— Какое тело? О чем вы говорите?

Его посадили в экипаж, так ничего и не объяснив, и Гиссинг шумно вздохнул, откидываясь на сиденье из затхлой кожи. Он закрыл глаза и не открывал их, пока экипаж не остановился; дверь быстро распахнулась, он увидел, что находится в небольшом дворе, и услышал чей-то возглас: «Пускай проходит!» Трое полицейских ввели его в здание из темно-желтого кирпича, где он оказался в узкой комнате, освещенной чередой газовых рожков. Перед ним стоял деревянный стол, покрытый грубым полотном. Что лежит на столе, он уже знал, знал до того, как детектив Пол Брайден сдернул покрывало. Часть лица была обезображена, голова неестественно вывернута, но Гиссинг узнал мертвую сразу: это была молодая женщина, открывшая ему дверь дома на Уайт-кросс-стрит, когда он искал жену.

— Вам знакомо это лицо?

— Да. Знакомо.

— Попрошу за мной, мистер Гиссинг.

Он поддался искушению и взглянул на нее еще раз. Глаза, ранее устремленные на обитель аналитической машины в Лаймхаусе, были теперь закрыты; но на лице, застывшем в смертную минуту наподобие иероглифа с гробницы, читались жалость и смирение. Брайден повел его по ярко освещенному коридору; в конце коридора была зеленая дверь, и прежде, чем тихонько постучать, Брайден прокашлялся. Ответа на стук Гиссинг не услышал, но Брайден открыл дверь и внезапно подтолкнул его вперед. Он очутился в комнате с решетками на окнах; за письменным столом сидел еще один полицейский, и он жестом пригласил Гиссинга сесть напротив.

— Известно ли вам, что такое голем, сэр?

— Мифическое существо. Кажется, что-то вроде вампира.

Его перестало удивлять происходящее с ним, и он ответил автоматически, как школьник на уроке.

— Совершенно верно. Но мы с вами не из тех, кто верит в мифические существа, правда?

— Надеюсь, что нет. Однако могу я узнать вашу фамилию? Так будет легче разговаривать.

— Моя фамилия Килдэр, мистер Гиссинг. Вы, насколько я знаю, родились в Уэйкфилде?

— Да.

— Но в вашей речи не слышно местного акцента.

— Я образованный человек, сэр.

— Истинно так. Ваша жена, — Гиссинг не услышал никакого особенного ударения на последнем слове, — сказала нам, что вы написали книгу.

— Да. Роман.

— Может быть, я его видел? Как он называется?

— «Рабочие на заре».

Килдэр взглянул на него жестче.

— Вы, наверно, социалист? Или член Интернационала?

Полицейский инспектор пытался увидеть некую мятежную связь между Карлом Марксом и Джорджем Гиссингом и даже в тот момент еще не исключал возможности некоего революционного заговора.

— Я не имею ничего общего с социалистами. Я реалист.

— Название у вашей книги такое, знаете...

— Записывать меня в социалисты не больше оснований, чем Хогарта или Крукшенка. <sup>[20]</sup>

— Я слыхал, конечно, эти имена, но...

— Это были художники, как и я.

— Понятно. Но не все художники могут похвастаться, что сидели в кутузке. — Следовало быть готовым, подумал Гиссинг, к тому, что они об этом знают; но все равно он не мог заставить себя посмотреть этому человеку в глаза. — Вы отбыли месяц каторжных работ в Манчестере, мистер Гиссинг. По обвинению в краже.

Он-то надеялся, что его проступок забыт, стерт из памяти всех, кроме него самого; когда они с Нелл переехали в Лондон, он даже пережил то, что позднее описал как «состояние необычайного духовного подъема, напряженнейшей внутренней работы». Может показаться странным этот «духовный подъем» в городе столь сумрачном, но Гиссинг хорошо знал, что Лондон всегда был обиталищем визионеров. Не случайно он выписал слова Уильяма Блейка, которые процитировал Суинберн в своем недавнем очерке, посвященном этому поэту: «Духовный, четырежды сущий, извечный

Лондон». Однако теперь Джордж Гиссинг сидел перед полицейским детективом понуриив голову.

— Мне все же хотелось бы знать, почему я здесь.

Главный инспектор Килдэр достал что-то из кармана и протянул ему. Это был листок из блокнота, запачканный кровью; на нем значились фамилия и адрес Гиссинга.

— Это я написал, — сказал Гиссинг тихо. — И дал ей.

— Мы и сами так думали.

— Я искал жену. — Он наконец понял, почему его допрашивают. — Неужели вам могло прийти в голову, что я причастен к этой смерти? Глупость какая-то.

— Не глупость, сэр. В подобном деле ничего нельзя отбрасывать как глупость.

— Разве я похож на убийцу?

— Я много раз убеждался, что тюрьма ожесточает человека.

— Вас же там всякому небось научили.

Это был другой голос, раздавшийся у него из-за спины; оказывается, допрос вел не один полицейский, а двое. Для Гиссинга их предположения были невыносимы. Он отдавал себе отчет в том, что мог быть сочтен, по тогдашнему выражению, «моральным уродом»; он не только жил с проституткой, но и познал уже вкус преступления и наказания, из-за чего неизбежно должен был вновь и вновь, от раза к разу все яростней, набрасываться на установленный порядок и добродетель. Это могло вылиться даже в убийство.

— Погибшая женщина была подругой вашей жены, — говорил между тем Килдэр. — Вы должны были хорошо ее знать. Или я не прав?

— Я никогда ее до той встречи не видел и ничего о ней не знал.

— Вы не любите встречаться с подругами вашей жены?

— Разумеется, нет. — Он не мог больше терпеть. — Вы прекрасно понимаете, какого сорта женщина моя жена. Но вы совершенно не понимаете, какого сорта человек сидит перед вами. Я джентльмен. — В мерцании газа он смотрел с таким вызовом и был при этом так беззащитен, что обоим полицейским в глубине души захотелось ему поверить. — В котором часу ее убили?

Килдэр помолчал, раздумывая, стоит ли делиться такими сведениями.

— Мы не можем говорить наверняка, но в полночь ее нашла другая, такая же, как она.

— Следовательно, я не тот, кого вы ищете. Сходите в ресторанчик на углу Бернерс-стрит и справьтесь обо мне. Я ушел оттуда уже после полуночи. Осведомитесь у официанта по имени Винсент, помнит ли он мистера Гиссинга.

Килдэр, нахмурившись, откинулся на спинку стула.

— Вы сказали моим сотрудникам, что работали.

— И не солгал. Я работал в ресторанчике. В этой внезапной сумятице я напрочь забыл, что вчера вечером сидел там, а не дома. Это одно из моих обычных мест.

Раздался стук в дверь, который так испугал Гиссинга, что он привстал со стула. Вошедший полицейский зашептал что-то Килдэру; слов Гиссинг не мог разобрать, а они между тем были в его пользу. В комнате на Хэнуэй-стрит на одежде подозреваемого крови не оказалось, и все ножи были чистые. Это разочаровало Килдэра, который считал, что наконец-то напал на след Голема из Лаймхауса. У кого может быть лучший мотив, чем у мужа закоренелой шлюхи — да еще бывшего заключенного, — которого она и подобные ей без конца компрометировали? Какого рода мщение мог замыслить этот человек? Килдэр вышел из комнаты вместе с полицейским, вернувшимся с обыска, и отправил его в ресторанчик, о котором упомянул Гиссинг. Килдэр разговаривал бы с подчиненным иначе, если бы знал, что ему всего час назад отдалась Нелл — на той самой постели, где ее муж лежал прошлой ночью и видел во сне аналитическую машину. Полицейский дал ей шиллинг, с которым она немедленно отправилась в Севен-дайелс, в лавку, где продавали джин.

Гиссинг сидел совершенно неподвижно и в наступившей тишине вспомнил о трупе, который лежал за стеной, совсем рядом. С детства его посещали мысли о самоубийстве — главным образом о прыжке в воду, — и на минуту он попытался вообразить, что на деревянном столе лежит он сам. Он всегда считал, что должен терпеть жизнь, испытывая по возможности меньше страданий, и старался думать о смерти с вожделением, но теперь, сидя в полицейском участке, он начал понимать, что, похоже, не властен над очертаниями своей судьбы. На протяжении одного дня из чудесного затворничества среди книг в Британском музее его бросило в унижение ареста с

перспективой позорной смерти в петле. И какое событие предопределило эту перемену? Случайная встреча на Уайт-кросс-стрит и его столь же случайное решение написать свое имя и адрес в надежде отыскать Нелл. Да, безусловно, была у его теперешних страданий и более постоянная причина — его жена. Он никогда бы не повстречал будущую жертву, если бы не пошел вслед за Нелл; его никогда бы ни в чем не заподозрили, не будь на нем клейма арестанта и отверженного, которое он получил по ее милости. Как ужасно быть с головы до ног опутанным чужой жизнью!

Брайден похлопал его по плечу (он вздрогнул, потому что в эту минуту думал о том, что на месте убитой могла быть Нелл) и повел его из комнаты к кирпичной лестнице. Пройдя по подвальному коридору, Гиссинг наконец очутился в маленькой камере.

— Долго мне здесь быть? — пробормотал он, словно говоря сам с собой.

— Только эту ночь.

Увидев на одной из стен плоский каменный выступ, Гиссинг медленно сел на него. Он приучил себя в часы одиночества размышлять и анализировать свои ощущения; но теперь не мог свести мысли ни к чему, кроме каменной стены напротив. Она была выкрашена в светло-зеленый цвет.

Герой «Рабочих на заре» был охарактеризован Гиссингом как «один из людей, чья жизнь проходит почти без всякой пользы для других, лишь являя им пример неодолимой силы обстоятельств». И вот теперь в камере сидел еще один мученик «обстоятельств», втянутый в мрачную повесть, над которой не имел власти. В углу стояло ведро для арестантских нужд, и вдруг ему захотелось нахлобучить его себе на голову и громко завывать. Но потом его мысли приняли другой оборот. Недавно он прочитал в «Уикли дайджест», что при постройке складов у Шадуэллского дока был найден фрагмент древнего Лондона. В земле обнаружили остатки строений, и Гиссингу пришло в голову, что стены его камеры могли быть сложены именно из этих камней. Может быть, погребенный город простирается столь далеко, что охватывает и Лаймхаус, где стоит аналитическая машина как верховное божество или *genius loci*.<sup>[21]</sup> А он, Гиссинг, — обреченная на заклятие жертва — ждет теперь в некоем преддверии, когда завершатся зловещие приготовления. Не в этом ли смысл упоминания о големе,

прозвучавшего из уст полицейского? Может быть, творение Чарльза Бэббиджа и есть подлинный Голем из Лаймхауса, высасывающий жизнь и душу из каждого, кто к нему приближается. Может быть, тикающие в нем цифирки — это маленькие, еле слышно ропшущие души, навеки пойманные железной сетью машины, сетью, которая есть не что иное, как сеть самой смерти. В какое же чудище способно еще вырасти это механическое существо! Что началось в Лаймхаусе, может распространиться на весь мир. Но это были всего лишь беспорядочные мысли измученного Гиссинга, сидящего в камере полицейского участка.

Его освободили на следующее утро: посланный полицейский удостоверился, что он действительно засиделся за полночь в ресторанчике на Бернерс-стрит. Ответы молодого официанта по имени Винсент были весьма выразительны; он сказал, что Гиссинг торчал там «черт знает до какой поздноты» и все время только и делал, что «кропал»; он обвинил писателя в том, что он «строит из себя невесть кого», хотя «гроша ломаного не имеет за душой». Один из посетителей также припомнил, что видел его в тот вечер, и подтвердил показания Винсента, определив Гиссинга как «голодранца с гонором». Он не был вполне справедлив, применив к писателю это популярное выражение: Гиссинг всегда старался одеваться чисто и обладал внутренним, а не показным достоинством.

Выйдя из двора полицейского участка, он в нерешительности остановился, овеваемый воздухом Лаймхауса. Он готовился к долгому и унижительному расследованию, и все же теперь, так неожиданно выпущенный, он не испытывал подлинного чувства освобождения. Был, конечно, момент облегчения и радости, когда он наконец покинул здание из уныло-желтого кирпича, но затем в его душе прочно угнездились ощущение угрозы. Само его существование в мире внезапно и остро было поставлено под вопрос. Не пойдя он тогда в ресторанчик, его вполне могли осудить и казнить; выходит, вся его жизнь на поверку столь хлипкая и ничтожна, что ее может разрушить любое случайное происшествие. Он и раньше, как мы видели, винил в своих несчастьях жену, но до сих пор он не считал ее источником смертельной опасности. Это был новый поворот. Ночь в камере показала ему, что у него, по существу, нет защиты ни от нее, ни от мира.

Он пошел домой через Уайтчепел и Сити, хотя прекрасно понимал, что никакого «дома» у него нет. Он был арестантом, возвращающимся в свою камеру. Едва он повернул на Хэнуэй-стрит, как услышал громкую брань: Нелл высунулась в окно второго этажа и ругалась с домохозяйкой, которая стояла на улице. «Такой срамоты, — кричала миссис Ирвинг, — такой срамоты я в доме терпеть не намерена!» Нелл ответила потоком нецензурных слов, после чего хозяйка обозвала ее «грязной потаскухой». Жена писателя на мгновение исчезла, потом появилась с ночным горшком, содержимое которого выплеснула в окно, метя миссис Ирвинг в голову. Гиссинг решил, что с него довольно. Ни та, ни другая его еще не увидели, и он, быстро отступив на Тотнем-корт-роуд, направился к Британскому музею. Если было где-нибудь для него пристанище в этом мире, то лишь среди книг.

## Глава 25

За два года я стала опытной исполнительницей, и у Дочки Малыша Виктора появилась своя биография, в которую я, пока находилась на сцене, искренне верила сама. Конечно, были у меня, как выражался обычно Дядюшка, *modeles*.<sup>[22]</sup> Я видела мисс Эмму Мариотт в «Джине и огнях рампы» и слышала, как «леди Агата» (в жизни Джоан Бартуистл, весьма неприятная особа) поет: «Знай ешь свой пудинг, Марианна»; я позаимствовала что-то у обеих. Была еще одна серьезно-смешная дама, Бетти Уильямс, — она начинала как танцовщица в больших башмаках, но в номере «Есть утешенье бедной старой деве» развернулась как настоящая артистка. Она особенным образом покачивалась, словно стояла на палубе судна или боролась с сильным ветром, и я взяла этот прием на вооружение для моего номера «Не надо это так выпячивать». Рев поднимался невероятный, хоть я всю скромничала и жеманилась. Дочка Малыша Виктора была юной девственницей и говорила совершенно невинные вещи — что подделаешь, если в ее словах видели второй смысл? Дэн считал, что я становлюсь чересчур пошлой, и я на него по-настоящему рассердилась: как можно возлагать на меня вину за гогот на галерке? Что пошлого он нашел в истории моей героини? Малыш Виктор взял ее на воспитание еще девочкой, после того как ее родители погибли при пожаре в сосисочной лавке; конечно, ей пришлось побыть служанкой в Пимлико, и что ей было делать, если все мужчины в доме постоянно ее одаривали? Вот она и пела: «Что может девушка сказать в ответ?» Чудесный номер!

Только когда пошел третий год моих выступлений, третий год беготни от зала к залу, Дочка Малыша Виктора стала мне надоедать. Уж настолько она была слащава, что мне захотелось как-нибудь покруче с ней расправиться. На сцене я норовила задать ей хорошую трепку. «Вот я тебе сейчас разукрашу физиономию!» — кричала мне кухарка, и я давала себе такого пинка, что чуть не летела кубарем (кухарку, разумеется, играла тоже я — это была часть моего, как говорил Дэн, «полимонолога»). В общем, эта девчонка мне уже была не нужна. И вот в один из будних вечеров я сидела в артистической,



слегка жалела себя «в мои молодые годы» и вдруг увидела один из костюмов Дэна, брошенный им на стуле. Он любил, чтобы все было прибрано, и по старой привычке я взяла одежку и стала ее чистить. Там была трепаная бобровая шапка, старое зеленое пальто, брюки в клеточку, башмаки и шейный платок; я уже готова была сложить все это и убраться, как вдруг мне пришла в голову смешная мысль — примерить костюм на себя. К стене у гримировочного столика было прислонено высокое зеркало, и я быстро, как могла, переделалась. Шапка была велика и съезжала мне на глаза, поэтому я сдвинула ее набок на манер уличного торговца фруктами; но брюки и пальто сидели превосходно, и я поняла, что вполне могу выйти в них на сцену. В зеркале мне открылось удивительное зрелище: я сделалась вылитым мужчиной, таким комиком-слэнгстером; я не могла оторвать от себя глаз и сразу начала сочинять новый номер.

Дэн вошел в комнату, когда я стояла перед зеркалом и отрабатывала разные жесты.

— Добрый вечер, — сказал он, словно кому-то другому. — Я вас знаю, когда вы в своей одежде?

— Конечно. — С улыбкой я повернулась к нему, хоть сама была несколько смущена тем, что сделала. Он всегда быстро соображал и теперь-то узнал меня сразу.

— Господи, — сказал он. — Забавно. — Он не сводил с меня глаз. — Что забавно то забавно.

— Это будет гвоздь программы, Дэн. У Дочки Малыша Виктора есть, оказывается, Старший Братец.

— Щеголь?

— Обтерханный щеголь.

Я видела, что он обдумывает эту возможность. Хорошая исполнительница мужских ролей в мюзик-холле всегда нужна, и как-то чувствовалось, что у меня получится.

— Попробуем, — сказал он, — чем черт не шутит. Глядишь, и выйдет потешно.

Он не ошибся. В первый раз меня представили как Старшего Братца Дочки Малыша Виктора, но для афиш оказалось слишком длинно, и я согласилась сократиться до Старшего Братца. Бобровая шапка, сползавшая мне на глаза и порой даже падавшая с головы, неизменно имела успех, но потом я перешла на симпатичное фетровое

изделие без полей; подыскав себе подходящий сюртук и белые панталоны, я, чтобы придать сногшибательному костюму законченность, начала надевать манишку со стоячим воротничком и высокие сапоги. Я с напыщенным видом расхаживала по сцене — ни дать ни взять светский лев, — и тут фонарщик сбивал с меня шляпу шестом; в зале поднимался хохот, потому что от ярости я начинала вибрировать — буквально *вибрировать*, — а затем очень аккуратно снимала с фонарщика кепку и швыряла в канаву. Все, конечно, шло на одних жестах, и сперва Дэн показал мне разные движения и ухватки, словно собирался сделать из меня второго Гримальди.<sup>[23]</sup> Но я и за словом в карман не лезла, и спустя некоторое время у меня выработался мой собственный мужской жаргончик. «Полсекундочки, лапочка», «Один крохотный моментик повремени» — эти фразы звучали у меня с неповторимой интонацией, и публика ждала их; я выпевала их, когда мне пора было улепетывать со сцены, и на бегу вдруг замирала, оттянув одну ногу назад. Старший Братец был отчаянный бездельник и плут; он увивался за старой толстой кухаркой, которая беспрерывно пекла пироги и будто бы спрятала где-то несметное богатство. «Лакомый кусочек моя Джоан, — говаривал он. — А все из-за чего? Все из-за теста». («Тесто» в то время было новомодным словечком, означавшим то же, что и «бакшиш».) «Ее волосы, правда, дело другое, и кое-кто может сказать, что там скопилось немало старых пауков. Кое-кто, но не я». Были у меня и другие шуточки. Когда вышли новые правила, я принялась их высмеивать, маршируя по сцене с развернутым знаменем, где было написано: «Временный противопожарный заслон». Это всегда заводило зал, и потом, пока они еще были мои, я разила их наповал одной из моих последних песенок. Хорошо шли «Я сам женатый человек» и «Любой резон для выпивки сгодится»; но я неизменно заканчивала мой мужской номер песней «Она была ранняя пташка, а я был влюбленный червяк», и меня много раз вызывали на бис прежде, чем отпускали ехать в другой зал. Разумеется, все было рассчитано по минутам: мой номер длился ровно полчаса, потом я садилась в карету и неслась на другую сцену. За один вечер я могла выступить в хокстонской «Британии» в восемь пятнадцать, в «Уилтонс» на Уэллклоус-сквер в девять, в «Уинчестере» на Саутуарк-бридж-роуд в десять и закончить в «Рэглане» на Теобальдс-роуд в одиннадцать.

Тяжкая жизнь, конечно, но я зарабатывала семь гиней в неделю плюс ужин. Старший Братец имел большой успех, и очень быстро я научила его сочетать нахальство с наивностью, искушенность с простодушием. Все, конечно, знали, что Дочка Малыша Виктора — это тоже я, но тут-то и заключалась вся соль. Я могла быть девушкой и юношей, женщиной и мужчиной, превращаясь из одного в другое без всяких затруднений. Я чувствовала, что способность становиться чем я захочу поднимает меня над ними всеми. Вот почему я стала убегать со сцены за пять минут до конца и возвращаться к изумленно глазеющей публике уже Дочкой Малыша Виктора. Дядюшка был теперь моим костюмером и держал женскую одежду наготове; пока я переодевалась, он не упускал случая похлопать меня по мягкому месту, но я притворялась, будто ничего не чувствую. Я уже изучила все его штучки и знала, как с ним себя вести. Так или иначе, я готовилась к моему старому сентиментальному номеру: «Каково быть бедной, кто мне скажет?» Каким дождем медяков осыпал меня потом раек! Как я обычно говорила, стоя там одинокой сиротой: это воистину были «грошики с небес».

Прошло, должно быть, два или три месяца после того, как на свет народился Старший Братец, и вдруг мне пришла в голову фантазия: забавно будет вывести его на улицы Лондона и показать ему мир. В том же доме, что и раньше, у меня теперь была своя комната — дверь рядом с Дорис, — и после вечера выступлений я возвращалась домой в моей собственной одежде и делала вид, что сейчас съем ломтик поджаренного хлеба и лягу спать. Но вместо этого я тихонько наряжалась Старшим Братцем, ждала, пока всюду погасят свет и дом утихнет, и спускалась по лестнице через заднее окно. Он не носил, конечно, своего сценического костюма, который был малость коротковат и малость обтрепан, а купил себе новый комплект одежды. Как я уже сказала, он был отпетый бездельник и больше всего на свете любил шататься по ночам, как настоящий прожигатель жизни; он пересекал реку у Саутуарка и петлял по Уайтчепелу, Шадуэллу и Лаймхаусу. Вскоре он уже знал все притоны и бордели, хотя его нога ни разу туда не ступала; ему нравилось смотреть, как грязь большого города проплывает мимо. Уличные женщины зазывно свистели ему, но он шел своей дорогой, и когда худшие из них пытались до него дотронуться, он хватал их за запястья своими большими руками и

отталкивал что было силы. С продажными юношами он обходился мягче, ибо знал, что они тянутся к нему из менее корыстных побуждений: они искали себе ровню, а кто же мог подойти им лучше, чем Старший Братец? Никому не дано было увидеть Лиззи с Болотной или Дочку Малыша Виктора — она исчезла, и мне было приятно вообразить, что она спит себе где-то мирным сном. Впрочем, нет. Это не совсем верно. Один человек все-таки ее увидел. Однажды Старший Братец проходил через Старый Иерусалим мимо Лаймхаусской церкви и у газового фонаря повстречался с евреем — они чуть было не столкнулись, потому что иудей шел, опустив голову и глядя себе под ноги. Подняв глаза, он увидел Лиззи под мужским обличем и отшатнулся. Он что-то пробормотал — не то «кебмен», не то «Кэмден», — и миг спустя она сшибла его наземь кулаком. Потом пошла дальше, как записной вечерний сладострастник, в дорогом сюртуке и щегольском жилете; она даже стала приподнимать шляпу перед проходящими дамами.

Однажды, когда я возвращалась на Нью-кат, меня заметила Дорис. Она дольше обычного засиделась с Остином за портером и изрядно, как говорится, накачалась.

— Лиззи, милая, — сказала она. — Что это на тебе такое?

Мне надо было быстро найтись, хоть и вполне вероятно было, что наутро она ничего не вспомнит.

— Я репетирую, Дорис. Разучиваю новую программу, вот и решила попрактиковаться.

— Ты как две капли воды похожа на одного моего милого старого друга. — Она поцеловала воротник моего сюртука. — На милого старого друга. Его давно уже нет. Спой нам, дорогая, спой.

От выпитого она мало что соображала, и я отвела ее к ней в комнату и спела припев: «Мамины следят за мной заботливые очи, а моя душа к ней рвется в небеса». Она очень любила эту песню. Утром, как я и предполагала, она ничего не вспомнила; впрочем, это не имело большого значения, потому что три недели спустя бедняжка умерла от пьянства. Мы сидели в уютной маленькой гостиной Остина, и вдруг она задрожала и покрылась каплями пота; когда мы довезли ее до бесплатной больницы на Вестминстер-бридж-роуд, она уже, считай, отошла. Алкоголь — яд вроде бы медленный, но, если тело ослаблено, развязка может наступить почти мгновенно. Мы похоронили ее в

пятницу перед дневным представлением в «Британии», и Дэн произнес у могилы маленькую речь. Он назвал покойную Блонденом в женском обличье и сказал, что она восходила все выше и выше к небесам. Она, сказал он, не оступилась ни разу, и мы все смотрели на нее снизу вверх. Он говорил очень проникновенно, и мы всплакнули немного. Потом положили к ней в гроб ее проволоку и еще немного поплакали. Я никогда этого не забуду. Вечером на сцене я была в особенном ударе, и от проказ Старшего Братца зал ходил ходуном. Куда деваться — приходится оставаться профессионалами, я так Дэну тогда и сказала. Ночью мне привиделось, что я на канате волоку за собою труп; но что такое сны, когда у нас есть сцена?

Мне следовало сказать это Кеннеди, «великому месмеристу», с которым мы две недели спустя выступали в один вечер.

— Как тебе это удастся? — спросила я его после того, как он на глазах у всех загипнотизировал несколько человек. У него рыбак спустился с двухпенсовой галерки и станцевал фанданго, а уличный торговец фруктами стал лихо отплясывать со своей бабенкой чечетку в деревянных башмаках, которую им, лондонцам, знать вроде бы не полагалось. — Это что, надувательство?

— Нет. Это искусство.

Мы сидели за рыбой с картошкой поблизости от зала в Бишопсгейте, в заведении, где разрешалось спиртное, и он, подняв свой бокал, стал смотреть на меня сквозь него. Мы расположились в укромном углу, где никто нас не видел, и в его глазах загорелось пламя, хотя теперь я думаю, что это вполне мог быть просто отблеск огня в камине.

— Тогда прошу, — сказала я. — Возьми меня в оборот, Рэндолф. — Он вынул из кармана часы из поддельного золота, которыми пользовался в своих выступлениях, взглянул, который час, и положил их обратно. Но я успела увидеть на циферблате мгновенную вспышку огня. — Сделай это опять.

— Что сделать, милая?

— Дай мне увидеть пламя.

И вот он медленно вынимает часы еще раз и держит их так, чтобы в них отражался огонь. Я не могла отвести от них глаз; мне вдруг вспомнилось, как мама, держа свечу, вела меня к постели по темной комнате на Болотной улице. Это было последнее, что мелькнуло в

моей памяти перед тем, как я уснула. Или мне показалось, что я уснула; так или иначе, когда я открыла глаза, великий Кеннеди смотрел на меня с ужасом.

— В чем дело, скажи на милость? — только и могла я вымолвить.

— Нет, не верю, что это была ты, Лиззи.

— Чему-чему не веришь?

— Не хочу говорить.

На мгновение я испугалась того, что могло обнаружиться.

— Ну скажи уж. Не мучь девушку.

— Нет, просто жуть берет.

Тут я громко расхохоталась и подняла бокал.

— За тебя, Рэндолф. Не понял, что тебя дурачат?

— Ты хочешь сказать...

— Да не поддавалась я тебе, ни на секундочку. — Он смотрел на меня с сомнением. — Плохо же ты думаешь о Лиззи из Ламбета.

— Ладно. Твоя взяла. Так естественно было...

— А в этом соль игры. Пусть себе смотрят и головы ломают.

Больше мы об этом не говорили, но с той поры он стал вести себя со мной не так, как раньше.

## Глава 26

Мистер Листер. Какие, в конце концов, мы имеем улики против миссис Кри? Она купила мышьяку против крыс. Все. Если бы это можно было считать основанием для обвинения в убийстве, половина женщин Англии оказалась бы в ее положении. Ясная, как божий день, истина состоит в том, что обвинение не смогло объяснить хоть с какой-то степенью убедительности, зачем миссис Кри понадобилось убивать своего мужа. Он был мягкий человек кабинетного склада, подверженный определенным психическим явлениям навязчивого характера — веская причина для самоубийства, но отнюдь не причина для того, чтобы его отправила на тот свет собственная жена. Был ли он ей хорошим мужем? Да, был. Обеспечивал ли он ее материально? Да, безусловно; и утверждать, что она отравила его ради наследства, — чистейшая нелепость, если мы примем во внимание, сколь безбедной была ее жизнь. Был ли Джон Кри извергом, тиранившим свою жену? Если бы это был зверь в человеческом обличье, тогда конечно, тогда мы имели бы возможный мотив для убийства подобного рода. Но мы видим, что на деле, несмотря на душевное расстройство, он был добрым и любящим мужем. Нет никакого резона для того, чтобы ей захотелось от него избавиться. Да взгляните просто на нее. Неужели она похожа на такое исчадие ада и воплощение ужаса, каким ее рисует мистер Грейторекс? Напротив, на ее лице написаны все мыслимые женские добродетели. Тут и верность, и целомудрие, и набожность. Мистер Грейторекс всячески напирает на то, что она в прошлом играла в мюзик-холлах, словно это является непременно признаком испорченности. Но несколько свидетелей показали, что, выступая на сцене, она отличалась безупречным поведением. Что касается ее жизни в Нью-кросс, мы много слышали от соседей о том, какая она была примерная жена. Служанка Мортимер, правда, назвала ее недоброй женщиной — я цитирую дословно, — но ведь слуги сплошь и рядом говорят такое о своих хозяевах, и особенно, рискну утверждать, горничные о своих хозяйках. Миссис Кри сообщила нам, что она несколько раз предупреждала эту Мортимер о возможном увольнении и выселении из дома. Мы должны принять это во внимание при оценке показаний служанки. Несомненно, этого могло быть достаточно, чтобы

восстановить молодую женщину против хозяйки дома. Теперь представьте себе подлинную картину жизни в семействе Кри: мрачно-религиозный муж, которого жена всячески утешает и поддерживает...



## Глава 27

*23 сентября 1880 года.*

Моя дорогая женушка все-таки хочет увидеть Дэна Лино в пантомиме на следующей неделе. Сезон с каждым годом начинается все раньше, и я могу это понять: лондонцам необходимо отвлечься от терзающих их ужасов. Намного веселей видеть, как Синяя Борода убивает два десятка женщин на сцене, чем помышлять о том, что подобное происходит на соседней улице! Меня, однако, не очень-то тянет повидать Лино еще раз. Я не меньше, чем другие люди, люблю театральные действия, но лицезреть его одетым принцессой или базарной торговкой — удовольствие небольшое. Это противно природе, а для меня природа значит все. Я такая же часть природы, как подернувший траву иней, как затаившийся в джунглях тигр. Я не какое-то там мифическое существо, как твердят газеты, и не диковинное чудище из готического романа; я — это я, существо из плоти и крови.

Какой глупец вздумал утверждать, что жизнь скучна? В сумерках я опять пришел на Рэтклиф-хайвей, сказавши жене, что ужинаю сегодня с приятелем в Сити. В прохладе вечера я стоял напротив магазина одежды и видел, как молодая женщина зажигает лампы в комнате наверху; чуть погодя в окне мелькнула детская тень. Снова я ощутил, что стою на священной земле, и восхвалил небо от имени торговца и его семьи. Им предстояло стать вечными символами и в собственных своих ранах отобразить язвы повторяющегося вновь и вновь времени. Умереть на том же месте, что и славная семья Марров, и умереть таким же манером — это ли не свидетельство власти города над людьми?

Я уже знал, как мне бесшумно и незримо войти; все еще стоя на противоположной стороне улицы, я увидел, как Джеррард спускается в магазин. Он забрал несколько монет из кассы, взял лежавшие на прилавке образцы тканей и начал подниматься по лестнице. Я шмыгнул в дверь и стал оглядываться, ища, где спрятаться; под лестницей была еще одна дверь, и, открыв ее, я по запаху понял, что она ведет в земляной погреб. Я люблю ароматы подземелья, и, повинувшись импульсу, я вымазал лицо темной грязью с его стен; потом

притаился, затворив дверь, пока не услышал, как магазин закрывают и запирают на засов. Я помедлил еще несколько минут в уединении погреба, но даже там до меня доносился гомон голосов из верхних комнат. Конечно, мне нельзя было просто выскочить и напасть на всех разом, ведь в суматохе рокового момента ктонибудь — ребенок ли, служанка — мог бы улизнуть; поэтому я стал раздумывать, как мне взять их поодиночке. Там, надо мной, соображал я, четыре или пять человек. А как были убиты Марры?

Молодая женщина затянула песенку «В парке Вокс-холл» из неувядаемого «Вечера в Лондоне» — это была то ли служанка, то ли дочка, и я вышел из укрытия, чтобы насладиться мелодией. Рядом с прилавком стояла маленькая стремянка, и я сшиб ее на пол; внезапный шум прервал ее пение, и через несколько секунд я услышал, как она неуверенной ногой ступила на лестницу. В наставшей тишине (я изо всех сил сдерживался, чтобы не расхохотаться) она осмелела и начала спускаться. Я стоял в темноте под лестницей и, едва она оказалась рядом, вынул из кармана молот и нанес удар. Она не вскрикнула — даже не успела вдохнуть, — и все же, приобняв одной рукой ее обмякшее тело, другой я выхватил бритву и рассек ей горло от уха до уха. Горячая, горячая работенка: кровь струилась по рукавам моего пальто, пока я тащил ее в дальний угол земляного погреба.

— Анни! Где ты там, Анни?

Это был Джеррард. Я хотел ответить голосом служанки, но прикусил язык и промолчал. Он медленно спустился по лестнице, внизу выкликнул ее имя еще раз, но тут я поднял руку, и моя бритва сделала свое дело. К тому времени, как он издал звук, его голова уже почти рассталась с телом, и звук этот был всего лишь хриплым стоном, словно он всегда знал, какая судьба ему уготована.

— Ваша служанка оказалась дрянной девчонкой, — шепнул я ему. — Слишком легко она отдалась. — Он смотрел на меня словно бы с изумлением, и я похлопал его по щеке. — Вы ничего интересного не пропустили, — прошептал я. — Представление только начинается.

Я поднялся по лестнице, держа в руке обнаженную бритву, — ну и зрелище я, должно быть, являл собой, весь залитый кровью, с вымазанным грязью лицом, настоящий африканец. Девочка, увидевшая меня первой, уставилась на меня во все глаза. «У тебя есть маленький братик?» — спросил я ее ласково. Тут на меня бросилась

мать с таким воплем, какого я никогда раньше не слыхивал. Необходимо было прекратить этот шум тотчас же, и поэтому, нарушая последовательность и правила хорошего тона, я двинулся навстречу ей с молотом и сразил ее. Затем обернулся к трепещущим в углу детям.

## Глава 28

Жестокое убийство семьи Джеррардов, совершенное Големом из Лаймхауса, еще сильнее разъярило и взбудоражило общественность. Узнав из газет подробности «последнего злодеяния», люди уже не могли говорить ни о чем ином. Словно какая-то подземная, первобытная сила вырвалась в Лаймхаусе на поверхность, и многими овладел иррациональный страх перед тем, что она не ограничится этим районом, а распространится на весь город, а может быть, даже на всю страну. Казалось, на волю выпущен какой-то темный дух, и некоторые религиозные деятели начали утверждать, что сам Лондон, само это громадное застроенное пространство, равного которому нет в мире, так или иначе в ответе за причиненное зло. Преподобный Траслер, пастор из баптистской церкви в Холборне, уподобил убийства дыму из лондонских труб и заклеил их как закономерный и неизбежный продукт современного образа жизни. Что в таком случае может помешать этой заразе распространяться? Не доберется ли она в скором времени до Манчестера, Бирмингема, Лидса? Другие общественные деятели требовали взять под стражу всех проституток якобы для того, чтобы спасти их от Голема из Лаймхауса; впрочем, подобные идеи можно связать с более общим желанием некоего ритуального очищения. Предлагали даже снести всю восточную часть города с тем, чтобы возвести на этом месте образцовые жилые кварталы. Правительство мистера Гладстона обсуждало этот план, но в конце концов отвергло его из-за непрактичности и дороговизны. Где, например, прикажете разместить прежних обитателей Ист-Энда, пока новый город для них только строится? И если — подобно тому, как думали, что мухи рождаются от гнили, — считать, что эти люди так или иначе ответственны за возникновение в их среде Голема, то можно опасаться, что, рассеявшись по столице, они просто-напросто разнесут заразу повсюду. Сама полиция не осталась в стороне от лихорадочных умствований, и даже ведущие дело детективы, похоже, верили, что они преследуют какого-то смертоносного демона или бога. Не они первые стали называть его Големом — это было изобретение «Морнинг адвертайзер», — но теперь они употребляли это имя даже в разговорах

между собой. А как, скажите на милость, обычный человек мог бы так долго оставаться непойманным?

Сестра торговца одеждой Джеррарда во время убийств спала на чердачном этаже дома; она ничего не услышала, так как от зубной боли приняла настойку опиума. Трудно вообразить себе ее ужас, когда она, спустившись вниз, первой обнаружила трупы; и все же, глядя на бездыханные тела брата и членов его семьи, она обратила внимание и на то, что вся обстановка и все предметы в доме и магазине остались как были (она не могла знать, что стремянка, сбитая на пол для того, чтобы привлечь внимание служанки, была затем поставлена на прежнее место). Казалось, что семья погибла без участия какой-либо внешней силы — словно она *уничтожила себя*, повинувшись некоему властному приказу. И Лондон охватила паника.

Она коснулась даже тех, кто был обычно чужд общим веяниям и, более того, подчеркивал свое презрение к ним. Убийства в Лаймхаусе оказали косвенное влияние на «Портрет Дориана Грея», написанный Оскаром Уайльдом примерно восемь лет спустя; в этом несколько мелодраматическом романе притоны курильщиков опиума и дешевые театры Ист-Энда играют существенную роль. Убийства дали толчок к созданию «Лаймхаусских ноктюрнов», знаменитой серии картин Джеймса Макнила Уистлера, где угрюмое настроение улиц близ речного берега передано цветом — голубовато-зеленым, ультрамариновым, матово-белым и черным. Уистлер также называл их «Гармониями на тему», хотя возникновению их сопутствовали весьма дисгармонические обстоятельства: однажды вечером, когда он бродил по Лаймхаусу и делал беглые зарисовки, его темный плащ и «заграничная» наружность вызвали у некоторых подозрение, что он и есть Голем, и, преследуемый многочисленной толпой, он укрылся в окружном полицейском участке — том самом, где несколькими днями раньше допрашивали Джорджа Гиссинга. Кроме того, на эту мрачную тему авторами-ремесленниками было написано несколько пьес «шокеров» и «триллеров», ставившихся в различных «театрах ужаса». Например, в театре «Эффингем» в Уайтчепеле гвоздем «страшного» репертуара наряду со «Смертью Чаттертона» и «Кебменом-скелетом» стал «Демон из Лаймхауса». В балаганчиках можно было видеть грубо вырезанные и аляповато раскрашенные картонные фигурки жертв Голема из Лаймхауса. Среди впечатлений подобного рода Сомерсет

Моэм и Дэвид Каррерас, тогда еще дети, впервые осознали свое влечение к театру; и более того, в 1920-е годы Каррерас написал пьесу, основанную на убийствах в Лаймхаусе, которая называлась «Имя мое вам неведомо».

Но при всем том — и здесь проявляется одно из удивительных совпадений, играющих столь важную роль в этой, да и любой, истории, — один из театральных деятелей 1880-х годов был связан со смертью семьи Джеррардов на Рэтклиф-хайвей куда более непосредственно. Джеррард был в свое время «костюмером» Дэна Лино (фактически это сводилось к тому, что Лино отдал начинающему делу торговцу несколько своих старых женских костюмов), и великий комедиант был у Джеррардов дома всего за три дня до убийства. В этих несчастливых стенах он позабавил их своим новым номером «Я чудо без костей», в котором изображал существо, сделанное целиком из каучука.

## Глава 29

*25 сентября 1880 года.*

Мы с Элизабет были на пантомиме в «Оксфорде», что рядом с Тотнем-корт-роуд. Ей очень хотелось увидеть Дэна Лино в роли сестрицы Анны в «Синей Бороде», но, постояв с ней несколько минут у входа, я, к своему удовлетворению, обнаружил, что все только и говорят что о моем маленьком представлении на Рэтклиф-хайвей. Лондонцы умеют оценить хорошее убийство — не важно, на сцене оно происходит или вне ее, — и двое джентльменов посообразительней провели сравнение между Големом из Лаймхауса и Синей Бородой. Я страстно захотел подойти к ним и представиться. «Вот он я, — сказал бы я им. — Перед вами Голем. Вот моя рука. Вы можете ее пожать». Но мне пришлось довольствоваться улыбкой и кивком; они решили, что мы где-то раньше виделись, и кивнули в ответ. Были там, конечно, и люди попроще: мастеровые и мелкие торговцы толпой валили в партер, туда же направлялись клерки из Сити со своими девицами. Когда мы вошли в главное фойе, Элизабет попросила меня купить программку.

— Старые привычки не умирают, — заметил я.

— Кое-что все же меняется, Джон. Посмотри на росписи. И на эти цветы. В «Вашингтоне» и в «Олд-Мо» все было по-другому.

— Ни тебе устриц, ни водяного кресса. Теперь сплошь отбивные да пиво.

У входа стоял директор в алом жилете; все больше воодушевляясь, он размахивал руками, на которых блестели перстни.

— Прошу занимать места. Шесть пенсов партер, девять — ложи для избранных.

Мы поднялись в ложу, и, едва увидев сцену, Элизабет в волнении вцепилась в мою руку; без сомнения, она живо вспомнила, как сама выходила к публике в роли Старшего Братца или Дочки Малыша Виктора. Неровно вспыхивающий газ сменился теперь электричеством, публика стала почище и поприличней — и все же для Элизабет это было прикосновение к миру, который она когда-то так хорошо знала и любила. Едва она успела показать мне на рояль и фисгармонию, как на сцене появились актрисы, одетые мальчишками. А

за ними и Дэн Лино — как встарь, подбежал к самой рампе, и, когда он представился «Сестрицей Анной — женщиной, которая знает», моя жена вместе со всеми издала ликующий вопль. Я смеялся так же громко, как и остальные, потому что знал, что в воздухе пахнет убийством.



## Глава 30

Дэн Лино не впервые выступал в роли Сестрицы Анны, и, так или иначе, ему не привыкать было к амплу «дамы». Он уже не был тем честолюбивым и многообещающим юным комиком, которого Лиззи с Болотной впервые увидела в 1864 году; теперь, шестнадцать лет спустя, он был признанной звездой мюзик-холлов, и в афишах его величали «самым смешным человеком на свете». Во многих отношениях он стал общественным достоянием: все его дела освещались в газетах, его облик расхвалился по стране в бесчисленных фотографиях, его «смешные женщины» копировались менее самобытными комиками в сотнях мюзик-холлов. Его хорошо знали как Даму Дерден, как Червонную Даму в «Шалтае-Болтае», как Баронессу в «Детишках в лесу» и как Вдову Туанкай в «Аладдине»; но его самой знаменитой и, как оказалось, самой трагической ролью стала Матушка Гусыня. Что-то тогда произошло с его рассудком, и на время он оказался в частной лечебнице; полностью он так никогда и не оправился, и некоторые историки театра прямо утверждают, что Матушка Гусыня сгубила его.

Главный выход Сестрицы Анны был в середине первого действия; она выезжала на сцену в тележке, запряженной двумя осликами, и в своем пышном парике и декольтированном платье выглядела как настоящая дама былых времен. Не сразу становилось понятно, почему она путешествует подобным образом, но все разъяснилось, когда в арьергарде появлялся дряхлый железнодорожный охранник. Оказывается, поезд, где она была единственной пассажиркой, потерпел крушение.

— Как я погляжу, миссис, вы самая что ни на есть леди, — говорил охранник как мог громко, чтобы перекрыть хохот публики.

— Значит, по мне заметно, что я живу на широкую ногу?

— Еще бы! Такой необъятной ноги я в жизни не видывал!

— Разумеется, в *моем* положении мне просто необходимо выглядеть прилично.

— Это платье, должно быть, стоит уйму деньжищ.

— Сущие для меня пустяки, жаль только, что я не могу показать всех дорогих вещей, которые у меня под ним.

Тут она изящно поднималась с мешка с зерном, на котором сидела, и с озадаченным видом оглядывалась.

— Что с вами, миссис, неужто сидеть не на чем?

— Глупости! У меня масса всего, на чем сидеть, только вот нет ничего подходящего, куда это добро пристроить.

Охранник принимался вытирать лоб, пережидая, пока уляжется смех в зале.

— Так вы что, сходите с экипажа?

— *Au contraire*, <sup>[24]</sup> я схожу с ума.

Это был грубый юмор, как раз на вкус публики, но исполнение Лино преобразало его в квинтэссенцию комедии как таковой; сколько высоты было в этой простоватости, сколько вызова в этом жалобном шмыганье носом, сколько непокорства в поражении — и сколь бессмысленна была здесь победа! Сюжет спектакля в версии, сочиненной неким журналистом из «Глоууорм», строился на том, что Сестрица Анна пускается во все тяжкие, надеясь обворожить Синюю Бороду; она не желает слушать никаких «наветов» на его счет и так отчаянно ищет его внимания, что остановить ее нет никакой возможности. Она настроена крайне решительно и в одной из своих популярных песенок поет: «Я не считаю, что слишком выпячиваюсь». Чтобы завлечь Бородушку, она даже пробует играть на арфе, но, разумеется, ее руки и платье запутываются в струнах, и борьба с инструментом продолжается на полу. Потом, чтобы понравиться Синей Бороде, она отплясывает чечетку в деревянных башмаках, но он заявляет, что она «элегантна, как паровой каток». Несмотря на это, она по-прежнему полна надежд и без усталости обучает свою красавицу-сестру Фатиму искусству обольщения. Одна из самых любимых публикой сцен происходит во втором действии, когда Сестрица Анна переодевается за очень узкой ширмой. Фатима выходит на сцену и мягко, чтобы не оскорбить ее чувств, спрашивает:

— Ну, с чем ты сегодня, милая?

— Я без всего совершенно, — отвечает Сестрица Анна.

Это было «потешно», как Дэн говаривал на репетициях, — зрители ревели от восторга. Вкусы эпохи верней всего, может быть, отражает именно ее юмор: с самыми для нее болезненными и серьезными предметами он обходится так легко, что шутка рождает катарсис. Вот почему в самый разгар лаймхаусских убийств о Големе и

его жертвах рассказывали столько анекдотов. Но юмор — не только облегчающее и освобождающее лекарство, он также может служить непризнанным, но общепонятным языком, который придает респектабельность самым темным побуждениям в обществе или его части. Это соображение, возможно, позволит лучше понять одну из сцен в третьем действии «Синей Бороды», когда Сестрица Анна, которую Бородушка несколько дней держал привязанной к стулу, лишается чувств от голода. Тут негодяй отвязывает ее, раскладывает на досках сцены и с размаху садится ей прямо на живот. Сестрица Анна на секунду приподнимает голову и слабым голосом спрашивает:

— Дорогой, что ты со мной делаешь?

— Это лечебная гимнастика. Врач велел мне каждое утро приседать на пустой желудок.

Шутка была удачной и нравилась публике. Но отразилось в ней и то, с какой силой тогдашние лондонцы желали кары для самых разнузданных и развратных женщин. Не столь уж рискованно будет предположить, что существовала связь между убийствами проституток в Лаймхаусе и ритуальным унижением женщины в рождественской пантомиме. Джон Кри, безусловно, смеялся от души, когда Сестрицу Анну сварили живьем с дюжиной картофелин. «Бородушка! — зывала она. — Бородушка! Я только на минутку выскочу, куплю несколько морковок!» Очень аккуратно она вылезла из жестяной посуды, держа в каждой руке по картофелине, которые тут же принялась есть. Это был Дэн Лино, каким помнила его Элизабет Кри, Дэн Лино с его печальным лицом («исполненная трагизма мордочка обезьянки» — так охарактеризовал это лицо Макс Бирбом), с его мучительным взглядом, с его нервной скороговоркой, обрывающейся на хрипе, с его пожатием плеч и внезапной смешной фразой, подобной вспышке молнии среди туч, — словом, это был Дэн Лино, сохранивший весь пафос и запал юности.

Сестрица Анна под конец поняла, что Бородушка — «не совсем ее партия», и теперь сидела в своей собственной уютной гостиной со старой подругой-наперсницей. Роль Джоанны О'Дуреллы играл Герберт Кэмпбелл, крупный телом и импозантный комический актер, чья материнская полновесность великолепно контрастировала с тщедушной подвижностью Дэна Лино.

— Есть одно обстоятельство, Джоанна, которое причиняет мне боль.

— Что это такое, Анна, голубка?

— Если бы Бородушка исправился, я была бы хороша еще десять лет.

— Но на твоём месте...

— О каком моём месте ты говоришь?

— Не будем сейчас в это входить, дорогая.

Дальше шло в таком же духе. Элизабет Кри видела, что время от времени комики резвятся, вставляя в диалог отсебятину, и это лишь увеличивало для нее удовольствие от спектакля, заставляя вспомнить о ее собственной жизни на сцене.

## Глава 31

Все это время я никогда по-настоящему не думала о матери — она, вероятно, быстренько сгнила там, и слава богу, — но иногда я ее видела. Не во плоти, конечно, а в духе, в образах «смешных женщин», которых играл Дэн. Одна из них меня особенно забавляла — мисс Молитт, лилейная девственница, до того религиозная, что она имела обыкновение, завидев vicar, тут же лишаться чувств и падать прямехонько ему в объятия. Я как могла помогала Дэну, снабжая его библейскими цитатами; «Книга Судей, глава пятнадцатая, стих двенадцатый!» — выкрикивала его героиня, начиная свое антре. Прямо как встарь у нас на Болотной. Взамен Дэн помогал мне с моим Старшим Братцем и однажды научил меня особенной походке — так, сказал он, ходит пьяный официант, старающийся выглядеть трезвым как стеклышко; и еще Дэн добавил, что обслужил меня в лучшем виде, но чаевых не требуется. Я и сама, надо сказать, любила подглядеть то там то сям характерную черточку и по-прежнему иногда, облачившись в мужское платье, слонялась по докам и рынкам и вслушивалась в жаргон. Уличные торговцы овощами в разговорах между собой произносили слова задом наперед; я поняла это однажды вечером в Шадуэлле, когда мне предложили «укжурк авип» — кружку пива; Дэн смеялся, когда я ему об этом рассказала, хоть, я думаю, он и без меня прекрасно знал все эти говоры. У перекупщиков жаргон был позаковыристей; чтобы взять порцию рому, надо было сказать: «Два с половиной пальца злой водички», а выкурить трубку табаку называлось «Ярд трухи прогнать через нос». Порой мне кажется, что лондонцы составляют особую расу, не имеющую ничего общего с остальным человечеством!

Раз после полудня Старший Братец решил навеститься в Ламбет, в знакомые места. Поровнявшись с домом на Питер-стрит, я безотчетно двинулась к подъезду, словно еще жила там с матерью; мысль о том, что, будь она жива, она не узнала бы меня вовсе, доставила мне странное удовольствие. И в жизни, и в смерти я была ей чужой. Отыскав ее могилу на кладбище для неимущих около Сент-Джорджс-сёркес, я встала на колени и приняла позу, которая в театре называется «ужас на ужасе сидит». «Я все переменяла, — прошептала я ей. —

Если ты меня видишь из-под кучи пепла, ты понимаешь, о чем я. Помнишь старую песню, мама?» Думаю, она не прочь была бы услышать какой-нибудь из ее гимнов и утащить меня в свой проклятый мирок; так что назло ей я затянула бесшабашную пьяную песню, которую слышала в зале «Угольная яма» на Стрэнде:

Ко мне придет с веревкой он,  
Придет с веревкой он,  
Ко мне придет с веревкой он,  
Ведь так велит закон.  
И я надену балахон,  
Проклятье!  
Ко мне придет он, чтоб сказать,  
Придет он, чтоб сказать,  
Ко мне придет он, чтоб сказать,  
Куда башку девать.  
На гимны ваши мне плевать,  
Проклятье!

Петь это на сцене нам не разрешали, но Дядюшка несколько раз повторил мне слова, и я выучила песню наизусть — вот великолепный образец шутовства, лучшее лекарство от религиозной горячки.

В тот вечер я выступала с особенным блеском, и после представления Чарльз Уэстон из «Друри-Лейн» спросил, соглашусь ли я сыграть одного из «главных мальчиков» в рождественской пантомиме «Детишки в лесу».

— Это я-то?

— Да, вы.

— Соглашусь, конечно.

Тут, похоже, в моих отношениях с Дэном появилась маленькая трещина. Он был не слишком доволен тем, что артистка, входящая в труппу, покидает мюзик-холлы ради сезонного ангажемента; впрямую он мне ничего такого не высказывал — вне сцены он всегда оставался безупречным джентльменом, — и все-таки он уже не был теперь так заряжен на шутку. Раньше мы с Дэном, чтобы позабавить других после репетиции, представляли *poses plastiques* — живые картины. Мы

застывали в вывороченных позах, опираясь на какие-нибудь предметы реквизита; получался, скажем, «Выход из купальни любимой наложницы султана» или «Опрометчивый обет Наполеона». Но теперь душа у него к этому не лежала, и дурачества прекратились. Зато я имела большой успех в роли «главного мальчика»; кажется, я была первой, кто вышел на сцену в полосатом трико, и это мое новшество (не в первый раз уже) подхватили потом другие. Баронессу играл Уолтер Арбетнот, а детишек — эта потешная парочка, Лорна и Туте Паунд. Хорошо помню слезы, подступившие к моим глазам, когда на последнем спектакле мы все взялись за руки и пропели традиционное:

В милом зале старинного «Друри»  
Не страшны нам ни грозы, ни бури.  
Рады видеть мы вас  
Еще множество раз  
В милом зале старинного «Друри».

Но этому, увы, не суждено было сбыться, и мой последний год в мюзик-холлах омрачили невзгоды и неудачи.

Они начались, когда я вновь после перерыва выступала в труппе Дэна в кларкенуэллском «Стандарде»; мы знали, что значительную часть публики составляют евреи, и, к восторгу зала, вставили кой-какие шуточки на еврейские темы. Закончив номер под названием «Флосси-фривольница», я убежала за кулисы под гром аплодисментов; на сцену полетели монеты, но я так устала и запыхалась, что просто не могла себя заставить петь еще.

— Ни на что не гожусь сейчас, — сказала я Эвлин Мортимер, довольно ядовитой танцовщице из «Веселого дивертисмента». — Как быть-то?

— А ты просто выйди, дорогая, и пожелай им *мейса мешина*. Ведь у них праздник сегодня.

И вот я вернулась на сцену, сделала руками широкий жест, улыбнулась и заговорила очень отчетливо:

— Леди и джентльмены, особенно та часть из них, что имеет отношение к некоему древнему избранному народу... — По рядам

прокатился смех, и я взяла паузу, чтобы перевести дыхание. — Позвольте от всего сердца пожелать вам *мейса мешина!*

Внезапно воцарилась тишина; потом она сменилась таким адским свистом и шиканьем, что мне пришлось убраться со сцены.

За кулисами ко мне, стоящей в недоумении, подлетел Дядюшка.

— Зачем было это говорить, милая? — Он махнул рукой, и Джо опустил занавес. — Или ты не знаешь, что это означает на их тарабарском наречии? *Мейса мешина* — это же СКОРОПОСТИЖНАЯ СМЕРТЬ!

Я пришла в ужас и, увидев, как моя прежняя подруга Эвлин Мортимер бочком пробирается к выходу, готова была собственноручно учинить ей эту самую скоропостижную смерть. Она всегда завидовала моему успеху, но это было самое подлое, что она только могла сделать. К счастью, Дэн быстро реагировал на любую сценическую неожиданность, и, будучи еще в костюме Прекрасной Домовладелицы — локоны пружинками и все такое, — немедленно вышел и исполнил «Кому мужчины ненавистны». Это их немного успокоило, а когда он пропел «У меня напитки по лицензии», они уже были в полном порядке.

Но я, как вы понимаете, была далеко еще не в порядке. Я почти никогда не брала в рот спиртного, но в тот вечер, когда представление кончилось, Дядюшка отвел меня «тут кой-куда поблизости» и взял мне большой стакан рома с фруктовым соком.

— Это все Эвлин, гадина, — сказала я. — Не танцевать ей больше со мной в одной программе.

— Не принимай так близко к сердцу, лапочка. Все кончено и забыто, как сказал палач повешенному — Он погладил меня по руке и не убирал ладонь чуть дольше, чем следовало бы.

— Возьми мне еще стакан, Дядюшка. Что-то я в таком настроении.

В этот момент небрежной походкой вошел Дэн; на нем был клетчатый костюм по последней моде.

— Я боялся, ты ее жизни лишишь, — сказал он.

— Правильно боялся.

— Вот и хорошо. Не теряй запала. Для тебя наклеывается ролька.

Я должна объяснить, что иногда в промежутках между номерами у нас бывали интермедии — то пародийная мешанина из Шекспира (у



Дэна выходила уморительная Дездемона), то забавная страшилка вроде «Суини Тодда». Никогда не забуду знаменитого Келли Колесом в роли одного из тех, кого Суини жаждет укокошить; Келли спасается, делая серию потешных сальто, публика кричит: «Келли, колесом!», он в очередной раз крутит сальто и в конце концов таким вот манером покидает сцену. Теперь Дэн придумал новую интермедию. Он знал, что Герти Латимер ставит в лаймхаусском театре «Белл» очередной спектакль ужасов под названием «Мария Мартен, или Убийство в красном амбаре», и решил предупредить ее постановку своей маленькой пародией. Сам собираясь сыграть Марию, несчастную жертву убийцы, он предложил мне роль ее возлюбленного, который душит ее и прячет тело в пресловутом амбаре. Хьюго Стед, Драматический Маньяк, должен был играть мать Марии, которую одолевают видения дочкиной гибели; тут соль заключалась в том, что у Хьюго был великолепный маленький номер под названием «Лучшее лечение» — он просто прыгал, держа ноги вместе, руки по швам, и одновременно ухитрялся петь. И вот, когда у миссис Мартен начинается очередное видение, она в возбуждении принимается подпрыгивать. Келли Колесом тоже предполагалось как-нибудь ввести — просто потому, что очень смешно, когда они на пару выделывают свои штуки. Таков, по крайней мере, был план Дэна, и, сидя в питейном заведении, мы обсуждали разные трюки и мизансцены. Я никогда раньше не играла убийцу, тем более красавчика убийцу, и слегка занервничала, не зная, как у меня выйдет.

Любопытно, что мистер Джон Кри, мой будущий муж, сидел совсем недалеко от нас и вел беседу с двумя разговорными комиками, известными как Ночные Тени. После того ужасного вечера, когда Малыша Виктора Фаррелла, выражаясь языком афиш, «настиг рок», мы порой обменивались с журналистом одной-двумя фразами, и я нимало не была смущена, когда Дядюшка помахал ему, приглашая к нашему столу.

— Джон! — закричал он. — Дрейфуйте к нам. Дэн решил податься в драматические!

Ведь мы всегда старались «протащить» что-нибудь в газеты, по возможности с упоминанием наших фамилий. Так что когда он передвинулся к нам со своим стулом, я приветливо ему улыбнулась.

— Спасибо, мистер Кри, — сказала я, — за то, что вы к нам присоединились. Дэн задумал кое-что весьма серьезное.

— Что же это такое будет?

— Спектакль ужасов. Меня он прочит на роль убийцы — мужчины из мужчин.

— Мне кажется, эта роль вам совершенно не подходит.

— Вам следует знать, мистер Кри, что наш брат актер способен на что угодно.

Но потом Дэн подпортил нам игру, объяснив, что это будет всего лишь комическая интермедия. Тем не менее в номере «Эры», вышедшем на следующей неделе, Джон Кри написал, что «Лиззи с Болотной улицы, замечательная комедиантка, лучше известная бесчисленным поклонникам ее таланта под именем Старшего Братца, собирается теперь порадовать публику совершенно новой, сенсационной ролью, связанной, как нам стало известно, с историей некоего громкого преступления». Я думаю, Джон уже в то время был ко мне равнодушен, хотя могу честно сказать, что никогда не делала ему авансов; он, со своей стороны, вел себя по-джентльменски и не пытался извлечь выгоду из наших задушевных бесед об актерских делах после того, как он упомянул меня в своей колонке. Он рассказал мне, что всегда жил в тени своего отца, у которого был какой-то бизнес в Ланкастере, и я ему посочувствовала. «Но по крайней мере, — добавила я, — вы знаете, кто ваши родители. Увы, о себе я сказать этого не могу». Он взял меня за руку, но я мягко высвободилась. Потом он признался мне, что исповедует католицизм, и я изумленно покачала головой. «Бывают же совпадения, мистер Кри. Я тоже всегда стремилась к религии». Он поведал мне, что мечтает стать литератором и что «Эра» — только первый шаг к этому. Я сказала, что и со мной дело обстоит подобным образом, что я начала выступать в мюзик-холлах лишь для того, чтобы когда-нибудь стать серьезной актрисой; это нас очень сблизило, и спустя некоторое время он показал мне пьесу, которую в то время сочинял. Она называлась «Перекресток беды» в честь знаменитого места на углу Ватерлоо-роуд рядом с отелем «Йорк», где собираются безработные актеры и ждут театральных агентов. Мне кажется, именно из-за пьесы он проявил такой интерес ко мне и ко всем моим мелким делам; мне, должна

признать, польстило его внимание, но я совершенно не ждала ничего большего.

Репетиции нашей комической интермедии оказались сущим адом, потому что всю потеху придерживали про запас: Келли Колесом не ходил колесом, разве что совсем уж спустя рукава, а прыжкам Драматического Маньяка явно не хватало маниакальности. Я, конечно, знала свою роль назубок, но воодушевление Дэна и всеобщее возбуждение то и дело преподносили какой-нибудь сюрприз.

— Экая прорва говядины, — сказал он, в первый раз увидев декорации, изображающие сельский пейзаж с коровами. — Можно подумать, мы в зеленой-зеленой комнате.

— Ну, ты готов наконец, Дэн? — Дядюшка был за режиссера и как мог старался держать всех в узде, хотя сам первый смеялся после шуток Дэна.

— Нет. Я совершенно не готов ни на какой конец. Я, по правде сказать, только начинаю.

— Да ну тебя, Дэн. Давай к делу. Некогда молоть языком.

Так что, расхаживая с текстами ролей в руках, мы два дня учили сценарий и запоминали все добавки, сочиненные по ходу дела. Дядюшка написал прекрасные стихи для убийцы, стоящего в одиночестве перед красным амбаром, и я пела их весьма выразительно:

Я безумный мясник, смерть мне будет расплата,  
Но изменщица злая во всем виновата —  
Мария Мартен...

В этот момент должен был выйти Дэн и сказать: «Партен» (вместо «Пардон»); но он стоял и смотрел на текст, не говоря ни слова.

— Ну же, — сказала я, обескураженная его молчанием. — Твоя реплика.

— Я жду сигнала.

— Дэн, я дала тебе сигнал.

— Разве? Сигнал у меня такой: Лиззи говорит «Мартен» и дико хохочет.

— А я что, не хохотала? — Я обернулась к Дядюшке в поисках поддержки. — Хохотала я?

— Да, Дэн. Она хохотала.

— Так это был хохот? А я подумал, у нее приступ коклюша. — Он принялся листать свою роль и каким-то образом ухитрился запутаться в страницах. — Тут явно что-то не так. Говорится, что я ухожу со сцены с гусем. Откуда этот проклятый гусь берется?

Дядюшка, который всегда был само терпение, подошел помочь ему разобраться.

— На какой ты странице?

— На девятой.

— Враз три страницы перевернул. Вернись вот сюда. Поехали.

И Дэн начал произносить последние слова Марии Мартен:

— Проклят будь день, когда он положил на меня глаз. Проклят будь глаз, который он положил на меня в тот день. Я сидела на приступке и размышляла о своем поступке — или я сидела на скамейке и размышляла о своей семейке? — в моем обычном духе, в такой примерно манере: «О, что такое есть женщина? В каком она роде? И в каком наклонении — в повелительном?»

В какой-то момент этого монолога, который Дэн, несомненно, мог длить без конца, я должна была подкрасться к нему сзади и, к восторгу галерки, задушить его голыми руками. Потом втащить тело в амбар, прикрыть соломой и обратиться к публике со словами: «Все вели себя очень сдержанно, не правда ли?»

— Ну что ж, — сказал Дэн после репетиции. — По-моему, забавная выходит штучка. Соль тут имеется.

Да, соль была; однажды, надо сказать, Дэну пришлось даже слишком солоно. Он заканчивал монолог Марии, куда вставил кой-какие остроты по поводу нового закона о женитьбе вдовца на сестре покойной жены (он в чем угодно мог найти смешное); я подошла сзади, и мои руки потянулись к его горлу. «Смотри философски, — сказал он, не обращая ни к кому в особенности. — Не раздумывай слишком долго». Когда я сомкнула руки, где-то на галерке вскрикнул ребенок; звук, должно быть, отвлек мое внимание, и я сжимала его шею несколько дольше, чем следовало. Будучи настоящим профессионалом, он не прервал сцену; в результате в амбар я тащила совершенно уже обмякшее тело. Его лицо под слоем грима стало

пепельным, он едва дышал. Я все-таки не растерялась, хоть дело происходило на глазах у сотен людей, и закричала: «Господин Мартен, сюда, сюда! С вашей дочкой совсем плохо!» Дядюшка, который играл отца Марии, уже облачился в траур для заключительной сцены похорон. Он выбежал из-за кулис, держа в руке черный цилиндр, и вдвоем мы вынесли Дэна со сцены; публика, решив, что так нужно по ходу пьесы, стала смеяться. Скрипач сообразил, что к чему, и начал музыкальный антракт, а мы с Дядюшкой взялись приводить Дэна в чувство с помощью нюхательной соли и коньяка. Потом Келли Колесом и Драматический Маньяк исполнили серию импровизированных сальто и прыжков. Дэн наконец пришел в сознание и кинул на меня взгляд, которого я никогда не забуду.

— Последним, что я почувствовал, — сказал он, — были эти твои ручки. Что, интересно, ты хотела со мной сделать?

— Я не соразмерила силу, Дэн.

— Да, мягко говоря.

Он увидел, что я едва сдерживаю слезы, и, как слаб ни был, рассмешил меня шуткой насчет своей «каучуковой шеи». Чуть оправившись, он вновь вышел на сцену; он был, как я уже сказала, профессионал в полном смысле слова.

Но полного доверия ко мне у него уже не было, и никогда больше он не включал меня в сценки с дракой и смертоубийством. Дядюшка, разумеется, встал на мою сторону и приписал все излишнему усердию; он был теперь моим лучшим другом, и порой я даже разрешала ему погладить меня по руке или коленке. Иных вольностей я, правда, не допускала, разве что порой он называл меня малюткой Лиззи, а один раз даже его дорогой девочкой.

— Я не твоя дорогая, Дядюшка, и я не твоя девочка.

— Лиззи, ну ты как ледышка прямо. Не изображай такую недотрогу.

— Я никого не изображаю. Я такая есть.

— Как тебе угодно, Лиззи, как тебе угодно.

Дядюшка жил не на квартире, а в купленном им премиленьком новом доме в Брикстоне; порой мы с Дэном и еще двое-трое наших приходили к нему на чашку чаю. Ну и потешались же мы, когда Дэн изображал благоговение перед Дядюшкиными претензиями на изысканность! Он показывал на серебряный чайничек или на какой-

нибудь шкафчик из эбенового дерева и говорил с интонацией кокни: «Ну слов же нет!» Потом вступал наш новый постоянный комик Питер Пол Вытер? — Питерсон; он делал несколько беглых замечаний по поводу бархатных штор, часов из золоченой бронзы, бумажных цветов и тому подобного. Дядюшка, когда мы высмеивали его обстановку, потешался вместе с нами, но, как я вскоре узнала, было у него и кое-что сокровенное, чего он не выставлял на всеобщее обозрение.

Однажды, придя к нему на чай за несколько часов до представления, я увидела, что других гостей, кроме меня, у него нет.

— Племянница, — сказал он, — в гостиную прошу.

— Это что, из детского стишка?

— Может быть, Лиззи, может быть. Так или иначе, прошу покорно. — Последние слова он произнес густым, звучным басом, как заправский комик «лев». — Сядь, дай роздых ножкам. — Он напоил меня чаем, накормил сэндвичами с огурцом (от ломтика огурца я никогда не в силах отказаться), а потом ни с того ни с сего вдруг спросил, хочу ли я узнать секрет.

— Конечно, Дядюшка, я страх как люблю всякое такое. Он ужасный, твой секрет?

— Не без этого, дорогая моя. Пойдем-ка на минутку наверх и посмотрим, что там есть. — Я проследовала за ним в чердачные помещения. — Вот она, моя темная комната, — шепнул он, постучав по одной двери. — И в ней имеется кое-что интересное! — Он открыл дверь, и едва я успела заметить странное выражение его лица, как он ввел меня в помещение, которое я вначале приняла за кабинет, потому что в углу там стояли письменный стол и стул; но посреди комнаты я, к моему удивлению, увидела фотографический аппарат на треножнике, покрытый черной тканью.

Он был такой душка, что скорее я могла бы предположить, будто он рисует акварелью или что-нибудь в подобном роде.

— Зачем это тебе, Дядюшка?

— Это и есть мой секретик, Лиззи. — Он придвинулся ко мне совсем близко, и, почувствовав в его дыхании алкоголь, я поняла, что он подлил себе кой-чего в чай. — Могу я рассчитывать на твое молчание? — Я кивнула и приложила палец к губам, как старая служанка из «Большого лондонского пожара». — Вот они, мои девушки. Все, милые, здесь. — Он подошел к письменному столу,

отпер его и вынул какие-то бумаги. Верней, мне вначале показалось, что это бумаги, но когда он протянул их мне, я увидела, что это фотографии — фотографии женщин, полуголых и совсем голых, с хлыстами и розгами в руках. — Ну, как они тебе, Лиззи? — нетерпеливо спросил он меня. От удивления я потеряла дар речи. — Такое у меня развлечение, Лиззи. Ну, ты понимаешь. Время от времени мне нужна хорошая порка. Как и любому из нас, в общем.

— Эту я знаю, — показала я на один из снимков. — Она ассистировала великому Болини. Он ее пополам перепиливал.

— Да, голубушка, она самая. Великолепная исполнительница. — Конечно, я была потрясена, когда мне открылся грязный маленький секрет Дядюшки, но решила не подавать виду. Кажется, я даже улыбнулась. — И знаешь, дорогая, я хочу попросить тебя об одолжении. — Я покачала головой, но он предпочел этого не заметить и двинулся к аппарату. — Не подаришь ли ты мне всего лишь одну *rose plastique*, Лиззи? Просто живую картину?

— Я скорее умру, — ответила я, безотчетно повторяя фразу из «Команды призраков». — Как это отвратительно.

— Ладно тебе, милая. Со мной можешь не ломаться.

— Что ты несешь?

— Ох-ох-ох, милая. Дядюшка все знает о нашей драгоценной Лиззи с Болотной. — Такого я не ожидала и почувствовала, что заливаюсь краской. — Вот-вот, дорогая. Я ведь следил за тобой, когда ты в мужском костюмчике ходила на прогулки в сторону Лаймхауса. Предпочитаешь быть мужчиной, Лиззи, и соблазнять женщин?

— Какое тебе дело до моих прогулок?

— Да, и еще, милая, чуть не забыл. Это дельце с Малышом Виктором.

— Что за новая чушь?

— Видел, видел я вас тогда в буфете. Ты хорошенько его отделала, было, Лиззи? И в ту же ночь он свалился с какой-то лестницы и покинул, как говорится, смертную оболочку. Помнишь ведь, Лиззи? Ты еще так убивалась тогда.

— Мне нечего тебе сказать, Дядюшка.

— А и не надо ничего *говорить*, милая.

Что мне оставалось делать? Люди с грязным воображением могли поверить историям, которые он стал бы обо мне рассказывать, а я ведь

была всего-навсего беззащитная артистка. Для половины мужчин и женщин Лондона, чтобы заклеить меня как бесстыдницу, достаточно было и того, что я выступала в мюзик-холлах, а прочие с охотой поверили бы самому худшему. В моих интересах было сохранять хорошие отношения с Дядюшкой. Вот почему каждое воскресенье я брала кеб, ехала в Брикстон и там на чердаке задавала этому ужасному человеку очень основательную порку; должна признать, что не церемонилась с ним, но в претензии он не был. Наоборот, всякий раз, как проступала кровь, он кричал: «Еще! Еще!» — пока я совсем не выдыхалась. Так уж я устроена от природы, это наказание мое — все, что делаю, я должна делать изо всех сил. Делать профессионально. Для сердца Дядюшки нагрузка, видно, оказалась непомерной: он ведь вдобавок дружил с бутылкой и был человеком плотного телосложения.

Через три месяца после того, как он принудил меня взять в руку плетку, он умер от сердечного припадка. Я очень хорошо помню, как это случилось: мы только начали репетировать «Безумный мясник, или Чего он наложил в эти сосиски?», как он вдруг повалился, сминая декорации. Он весь взмок, и его была сильная дрожь, так что я велела Дэну немедленно позвать врача, но когда тот явился, все было кончено. Дядюшка получил по заслугам, а мне доставило удовлетворение то, что последним словом, которое он произнес, было мое имя.



## Глава 32

Мистер Грейторекс. Итак, перед нами Элизабет Кри. Если верить тому, что мы только что имели удовольствие слышать, здесь стоит оболганная и оклеветанная женщина. Образцовая жена, которую обвинили в отвратительном убийстве на основании одних лишь косвенных улик и кривотолков. Вам было сказано, что Джон Кри, ее несчастный муж, покончил с собой, отравившись мышьяком. Вы спросите: почему он добровольно избрал такую мучительную и небыструю смерть? Вам ответят, что, будучи католиком, он, как утверждает его супруга, до глубины души проникся мрачными религиозными представлениями и был убежден, что отвержен Богом и его повсюду подстерегают демоны. В самоубийстве он якобы видел единственный выход для себя, хотя может показаться странным, для чего ему понадобилось навечно обрекать себя на расправу все тем же демонам.

Но отвлечемся на время от религиозных материй и попристальнее взглянем в обстоятельства дела. За несколько дней до смерти мужа Элизабет Кри побывала в аптеке на Грейт-Титчфилд-стрит. Мышьяк против крыс, сказала она, хотя, по утверждению служанки Эвлин Мортимер, в недавно построенном доме в Нью-кросс никаких вредных тварей не водится. Потом муж умирает от отравления мышьяком. Согласно заключению coronera, несчастный поглощал это вещество в изрядных количествах в течение по меньшей мере недели перед своей прискорбной и безвременной кончиной. Довольно странный для отчаявшегося человека способ самоубийства. Наконец он получает смертельную дозу; это произошло вечером двадцать шестого октября прошлого года, когда, как утверждает служанка, Джон Кри, обращаясь к жене, воскликнул: «Ты дьявол! Вот кто ты есть!» Спустя недолгое время, когда он уже упал на турецкий ковер в своей спальне, миссис Кри выбежала на улицу с возгласами: «Джон погубил себя!» — и так далее, и тому подобное. Непонятно, откуда она могла знать, что именно таковы были намерение и поступок ее мужа, и еще более странно, что еще до всякого обследования она заявила об отравлении мышьяком; как бы то ни было, проходит несколько минут, пока ей удается достучаться до доктора Мура. Он установил, что Джон Кри

скончался, после чего миссис Кри упала без чувств в объятия служанки.

Перейдем теперь к мистеру Кри. Его супруга поведала нам, что он был папист весьма мрачного толка, но иных подтверждений этому мы не имеем. Иначе говоря, нам предлагают поверить в самоубийство мужа на основании одних лишь показаний жены. Служанка, прожившая несколько лет под одной с ними крышей, характеризует хозяина совсем иначе. По ее словам, мистер Кри был добрый и мягкий человек, и он не выказывал никаких признаков религиозного помешательства. Раз в неделю они с женой посещали католическую церковь Богоматери Скорбящей в Нью-кросс, но это происходило по настоянию миссис Кри; она, как утверждает служанка, была весьма озабочена тем, чтобы выглядеть респектабельно. Поскольку характер и образ мыслей мистера Кри представляются в этом деле столь важными — фактически только лишь на этом строится защита обвиняемой, — нелишне будет чуть подетальней разобраться, что это был за человек. Его отец торговал галантереей в Ланкастере, но сам Джон Кри приехал в Лондон в начале шестидесятых, надеясь добиться успеха на литературной ниве. Он хотел стать драматургом, что, естественно, толкало его к театральным кругам. Он стал работать репортером в газете «Эра», посвященной миру сцены, и в этом именно качестве познакомился со своей будущей женой, которая предстала теперь перед вами как обвиняемая. Через некоторое время после их свадьбы отец Джона Кри умер от желудочного воспаления, и его единственный сын получил большое наследство. Разумеется, теперь это наследство должно перейти вдове. Джон Кри оставил работу в «Эре» и с той поры целиком посвятил себя литературным опытам более серьезного характера. Как вы знаете, он часто посещал читальный зал Британского музея и продолжал писать свою драму. Он также, как стало ясно из найденных после его смерти бумаг, собирал материалы о беднейших слоях лондонского населения. Можно ли поверить, что человек такого склада был преисполнен, как заявляет его жена, мрачного религиозного фанатизма? Или, может быть, Джон Кри был неким зловредным домашним тираном, Синей Бородой, делавшим семейную жизнь невыносимой? Нет, это явно не тот случай. Все характеризуют его как спокойного и любезного человека, у которого не было причин убивать себя и который никоим образом не мог обидеть

свою жену. Он не был, выражаясь на современный лад, никаким Големом из Лаймхауса.

## Глава 33

*26 сентября 1880 года.*

Вчера вечером моей милой женушке так понравилась пантомима, что на обратном пути в кебе она пропела мне песенку, которой они с Дэном в былые дни завершали представление. И, едва войдя в дом, она схватила горничную за руку и пересказала ей все, что мы видели.

— А потом Дэн немножко так задом наперёд походил перед Синей Бородой: «Я выхожу, а потом опять вхожу, просто чтобы ты знал, что я здесь». Помнишь, Эвлин?

Моя жена даже сымитировала хриплый голос Сестрицы Анны. А я прошел наверх, в свой кабинет, чтобы разрешить засевший у меня в мозгу вопрос; дело в том, что я, неплохо зная эссе Томаса Де Куинси о пантомиме, вдруг забыл название. Не то «Смех и крик», не то «Искусство крика». Помнилось только, что название очень выразительное, а вот точные слова никак мне не давались. Поэтому я снял с полки сочинения великого писателя и, по любопытному совпадению, нашел эссе в том же томе, где содержится другая милая моему сердцу вещь — «Взгляд на убийство как на одно из изящных искусств». Эссе озаглавлено «Смех, крик и речь», и я даже обнаружил свою помету на полях у того места, где пантомима определяется как «смесь потехи, прихоти, трюка и жестокости — я говорю о клоунской жестокости, о преступлениях, приводящих нас в восторг». Великолепно сказано: *о преступлениях, приводящих нас в восторг*, — и, конечно же, это исчерпывающим образом объясняет всеобщий интерес к маленьким драмам, которые я разыгрываю на улицах Лондона. Я могу даже представить себе, как появляюсь с молотом в руке перед очередной шлюхой и восклицаю: «Вот мы и снова тут как тут!» — с той самой интонацией крикливого возбуждения. Можно даже облачиться в сценический костюм перед тем, как рассечь ее. Вот жизнь! И, разумеется, публика наслаждается каждой минутой захватывающего спектакля; кажется, Эдмунд Бёрк в своем чрезвычайно содержательном эссе о Возвышенном и Прекрасном объяснил, что самые сильные эстетические переживания проистекают из ощущений ужаса и тревоги. Ужасное есть возвышенное в полном смысле слова. Простой народ и даже средние слои, внешне выказывая

отвращение и негодование по поводу моей великой карьеры, втайне смакуют каждый ее шаг. Все газеты страны с почтением описывают мои грандиозные деяния и порой даже приукрашивают их, чтобы потрафить общественному вкусу; в некотором смысле их сотрудники стали моими дублерами, запоминающими каждое слово и повторяющими каждый жест. Я сам в свое время работал в «Эре» и прекрасно знаю, как глупо-легковверны могут быть газетчики; нет сомнений, что теперь они уверовали в Голема из Лаймхауса с таким же пылом, как и все прочие, и искренне убеждены, что людей терроризирует некое сверхъестественное существо. В Лондон ныне вернулось благоговение перед мифом — если, конечно, оно когда-нибудь его покидало. Поскребите получше современного лондонца, и вы найдете перепуганного средневекового деревенщину.

Я доехал в кебе до Олдгейта, а оттуда прошел пешком до Рэтклиф-хайвей; перед домом, где произошло великолепное убийство, стоял полицейский, и рядом на улице собралась кучка зевак, не имеющих иной цели, кроме как поглазеть и пошутиться. Я присоединился к ним без колебаний и с удовольствием убедился по их речам, что эти люди проникнуты бесконечным уважением и восхищением.

— Ни единого звука, чик — и все, — сказал один. — Они и понять-то ничего не поняли, а уж горло перерезано.

Это было не совсем верно: мать и дети успели увидеть, как я поднимаюсь по лестнице; но само это преувеличение достаточно знаменательно.

— Как пить дать невидимка, — шептала женщина собеседнице. — Придет, уйдет, а никто и не заметит ничего.

Мне хотелось поблагодарить ее за лестный отзыв, но, конечно же, снимать шапку-невидимку перед ними было нельзя.

— Скажите мне, пожалуйста, — спросил я одного странного типа с повязанным вокруг головы красным шарфом, — крови много было?

— Ведрами лилась. День целый потом все мыли да скребли.

— А что с этими несчастными? Куда их теперь?

— Да на кладбище, на Уэллклоус-сквер, куда же еще. Одна могила на всех. — Судя по тому, как округлились у него глаза, он хотел мне сообщить еще кое-что. — А знаете, что сделают с этим Големом, когда его найдут?

— Если найдут.

— Зароют на перекрестке дорог. А в сердце кол засадят.

Это выглядело едва ли не как распятие, но я знал, что в старину так справлялись с изощренными преступниками; что ж, пусть лучше это, чем быть прикованным цепями к речному берегу и медленно гнить под действием приливов. Бескрайний Лондон всегда придет мне на помощь в беде.

Я вернулся к себе в Нью-кросс и вечером слушал, как жена играла на пианино новую мелодию Чарльза Дибдина.

## Глава 34

Всего лишь через несколько часов после того, как Джон Кристаллистал эссе Томаса Де Куинси о пантомиме, полицейские детективы, явившись на дом к Дэну Лино задать ему вопросы относительно убийства семьи Джеррардов на Рэтклиф-хайвей, увидели в гостиной у знаменитого комика произведение того же автора — «Взгляд на убийство как на одно из изящных искусств». Однако Лино ни в малейшей мере не испытывал влечения к смерти — напротив, эта тема внушала ему чрезвычайный страх, и наличие книги Де Куинси в его доме имело куда менее очевидную причину: оно объяснялось его восторженным интересом к Джозефу Гримальди, самому блестящему из клоунов восемнадцатого века.

История пантомимы занимала Дэна Лино еще с той поры, когда его слава в мюзик-холлах только набирала силу; «самого смешного человека на свете» влекло к себе то, чему он, можно сказать, был обязан своим существованием. Он коллекционировал старые афиши и такие памятные вещицы, как костюм Арлекина из «Триумфа радости» и волшебная палочка из «Магического круга». Конечно, имя Гримальди было ему известно с самого начала — через сорок лет после смерти этот клоун все равно считался самым знаменитым из всех, — и одним из первых купленных Лино театральных сувениров стал цветной эстамп, изображающий «прославленного клоуна мистера Гримальди в популярной новой пантомиме о Матушке Гусыне». По словам одного из современников, Гримальди был «самым поразительным человеком своего времени», потому что он «во все, что делал, вкладывал огромный *смысл*». Эта характеристика понравилась Лино, когда он впервые ее прочитал, потому что ее можно было отнести и к нему самому: для него тоже сыграть роль означало, по его собственным словам, «вдуматься» в персонаж во всей его полноте. Недостаточно было нарядиться Сестрицей Анной или Матушкой Гусыней — нужно было ими стать. Лино также оценил знаменитую историю о визите Гримальди к врачу во время гастролей в Манчестере; в нем уже были заметны признаки нервного истощения, которое в конце концов свело его в могилу, и врачу хватило одного взгляда на лицо бедняги, чтобы произнести свое заключение. «Могу

вам посоветовать только одно, — сказал он. — Сходите посмотрите на клоуна Гримальди».

Но помимо этого Дэн Лино мало что знал о своем великом предшественнике, пока за несколько недель до описываемых событий по совету «ходячего справочника» не наведлся в библиотеку Британского музея.

Там, порывшись в каталоге под громадным куполом, он обнаружил «Мемуары Джозефа Гримальди» под редакцией Боза. Лино был если не высокообразованным, то по крайней мере достаточно начитанным человеком — он часто повторял, что его школой был дорожный сундук, — и он знал, что Боз был не кто иной, как покойный Чарльз Диккенс. Это обстоятельство его порадовало, потому что он давно восхищался изображением людей театра в «Николасе Никльби» и «Тяжелых временах»; однажды он даже виделся с великим писателем — труппа выступала в «Тиволи» на Веллингтон-стрит, и после представления Диккенс зашел к нему за кулисы со словами благодарности. Диккенс всю жизнь был любителем мюзик-холлов и видел в Дэне Лино некое яркое воплощение своего собственного невеселого детства.

Конечно же, Лино немедленно заказал мемуары и провел целый день, читая историю жизни Гримальди. Голый и орущий будущий клоун явился на свет Божий восемнадцатого декабря, за два дня до даты рождения Лино, и кто может сказать, под счастливой или несчастливой звездой оба артиста пришли в этот мир. Оказалось, что Гримальди родился на Стэнхоуп-стрит в Клэр-маркете в 1779 году и впервые вышел на сцену в три года; совсем недалеко оттуда прошло младенчество Дэна Лино, который тоже дебютировал трех лет от роду. Итак, выясилось родство душ. С ощущением подъема и воодушевления Лино занес в свой блокнот описание излюбленного костюма Гримальди — белый шелк с разноцветными пятнами и полосами; Гримальди, обычно бессловесный на сцене, выражал свое настроение, указывая на символизирующий его цвет. Лино целиком переписал сцену между клоуном «обжорой» и клоуном «пропойцей», а затем и слова самой знаменитой и популярной песенки Гримальди «Рыбешки горяченькие»; он даже запомнил несколько фраз из прощальной речи клоуна, обращенной к лондонским театрам: «Четыре года прошло с тех пор, как я совершил мой последний



прыжок, цапнул мою последнюю устрицу, сжевал мою последнюю сосиску. Я теперь далеко не так богат, как тогда, потому что, как иные из вас могут помнить, имел обыкновение держать курицу в одном кармане, а подливку к ней в другом. Сорок восемь лет протекло над моей головой, и я быстро иду на дно. Я теперь хуже стою на ногах, чем раньше стоял на голове. И вот сегодня я в последний раз надевал клоунский костюм, а когда я снимал его несколько минут назад, мне почудилось, будто он сросся с моей кожей, и бубенчики на старом колпаке, расставаясь со мной навсегда, прозвенели похоронным звоном. Выше головы не прыгнешь, леди и джентльмены, и поэтому я должен поторопиться сказать вам: „Прощайте. Прощайте! Прощайте!“» После этих слов, как пишет Диккенс в сноске, его под руки увели со сцены. Дэн Лино подумал, что это самая замечательная речь из всех, какие он читал или слышал, и под куполом библиотеки он вновь и вновь повторял ее про себя, пока не затвердил наизусть. Тихо шепча эти слова, он думал обо всех бедных и обездоленных на улицах города, о беспризорных детях и семьях, лишенных крова; ибо Гримальди на склоне дней, казалось, заговорил от их имени и стал их утешителем. Лино припомнил эту речь позже, лежа на смертном одре; тогда он произнес ее громко и отчетливо, слово в слово, а те, кто стоял у его постели, решили, что он бредит.

Но в тот весенний день 1880 года он видел только блеск и великолепие гения Гримальди. Он особо отметил замечание Диккенса о том, что «его Клоун являл собою воплощенный образ его самого», и подумал, что писатель нащупал здесь свойство, которым обладает и он, Лино; прочитав затем, что Гримальди был «подлинный фигляр — гримасничающий, воруемый, неотразимый, ускользящий Клоун», он без всякого высокомерия или гордыни почувствовал, что воистину стал наследником славного артиста. Была ли тому причиной необычная близость дат рождения или, может быть, сама атмосфера Лондона, который породил их обоих и в котором оба существовали, — факт тот, что Гримальди и Лино были необычайно схожи в своем юморе и в самой сути сценического образа. Конечно, Гримальди чаще всего был Арлекином, а Лино — Дамой (хотя и Гримальди иногда играл женские роли, самой знаменитой из которых была баронесса Помпсини в «Арлекине и Золушке»), но характеры и ухватки их персонажей во многом совпадали. Оба артиста произросли на одной почве; и, выйдя

теплым лондонским вечером из Британского музея, Лино решил пройтись пешком до Клэр-маркета, где родился Гримальди.

Это была все та же грязная, безалаберная, назойливая мешанина лавок, переулков, доходных домов и питейных заведений (двадцатью годами позже, однако, сметенная «мероприятиями по благоустройству» и прокладкой улицы Кингсуэй); в год смерти Гримальди Диккенс охарактеризовал эту часть города в «Записках Пиквикского клуба» как «скопление плохо освещенных и еще хуже проветриваемых жилищ», от которого поднимались испарения, «как из гнилостной ямы». Свернув на Стэнхоуп-стрит, Лино принялся гадать, в котором из домов родился Гримальди; но все они были неказисты и похожи один на другой, и великий Клоун мог появиться на свет в любом из них.

— Мистер Лино, добрый вечер, сэр.

— Добрый вечер. — Он повернулся и увидел на крыльце одного из домов бедно одетого молодого человека.

— Вряд ли вы меня помните, сэр.

— Увы. Прошу прощения, действительно не помню.

Вид у молодого человека, которому нельзя было дать больше двадцати двух или двадцати трех лет, был дикий и вместе с тем серьезный, что встревожило Лино: он хорошо знал, как могут действовать на психику большие дозы алкоголя.

— Ничего удивительного, сэр. Я был статистом в «Матушке Гусыне» три года назад в «Друри-Лейн», сэр. Я подавал вам шляпку и муфту.

— Помнится, вы очень хорошо их подавали. — Лино оглядывал узкий и мрачный тупик.

— Тут много нас, театральных людей, живет, мистер Лино. Отсюда ведь рукой подать до «Друри-Лейн» и до мюзик-холлов. — Он сошел с крыльца. — Я ни разу ни на секунду не опоздал с этой муфтой, если вы помните.

— Как же, конечно, помню. Всегда тютелька в тютельку.

— Потом у меня наступила тяжелая полоса, сэр. В нашей профессии всякое бывает.

— Да, еще бы.

На молодом человеке были потертый пиджак и несвежая рубашка, и вид у него был такой, словно он последний раз ел день или два назад.

— Я выступал с труппой в «Детишках в лесу» по разным театрам, но однажды в Маргейте меня сильно покусали.

— Впредь будете беречься квартирных хозяек. Некоторые так и лязгают зубами.

— Нет-нет, сэр. Это была собака, настоящая собака. Укусила меня в запястье и лодыжку.

Вдруг Лино проникся к молодому человеку такой жалостью и таким сочувствием, что готов был обнять его здесь, в этом тупике, где жил когда-то Гримальди.

— В запястье и лодыжку? А что вы в это время делали? Ногу чесали?

— Разнимал двух собак, которые грызлись. Потом три недели провалялся в больнице, а когда вышел, место было занято. С тех пор без работы.

Дэн Лино вынул из кармана соверен и протянул ему.

— Примите как возмещение за время, которое вы потратили на «Детишек». Считайте, что это от всей нашей братии.

Молодой человек, казалось, вот-вот расплачется, поэтому Лино поспешно добавил:

— Вы знаете, что где-то в этих местах родился великий Гримальди?

— Да, сэр. В той самой комнате, где я сейчас живу. Я и сам хотел вам сказать, я ведь сразу догадался, что из-за этого-то вы и пришли сюда.

— Можно мне подняться к вам на минутку?

— Милости прошу, сэр. Жить там, где побывали и Гримальди, и Лино... — Молодой человек повел Лино на второй этаж по выщербленной и грязной лестнице. — У нас стесненные обстоятельства, так что простите за неудобство.

— Не волнуйтесь. Я очень хорошо знаю, как людям приходится жить.

Войдя в маленькую каморку с низким потолком, он сразу увидел беременную женщину, неподвижно лежащую на тюфяке.

— Моя жена, сэр, уже на сносях. Ей трудно вставать, вы уж извините. Мэри, к нам пришел мистер Лино.

Она повернула голову и попыталась подняться. Дэн Лино быстро подошел к ней и дотронулся до ее лба; она пылала в лихорадке, и

Лино, охваченный тревогой, обернулся к ее мужу.

— Врач дал ей лекарство, — сказал тот, понизив голос. — Он говорит, это вполне естественно в ее состоянии.

Но молодой человек с трудом сдерживал слезы, и, почувствовав это, Лино мгновенно решил действовать — в жизни, как и на сцене, его отличала быстрота восприятия и соображения.

— Вас не оскорбит, — спросил он, — если я попрошу моего врача зайти к вам? Он живет, можно сказать, в двух шагах и имеет акушерский опыт.

— О, спасибо, сэр. Если вы думаете, что он сможет ей помочь...

Только теперь Лино обратил внимание на другую часть комнаты, где, к своему удивлению, увидел на стенах старые афиши и листы с текстами и нотами песенок.

— Это моя коллекция, — сказал молодой человек. — Никак не могу с ней расстаться.

Там были портреты Уолтера Лейбернума, Брауна-трагика (Горе не Беда!) и великого Макни; под тяжкие вздохи лежащей на тюфяке молодой женщины Лино рассматривал листы с песенками «Досрочно освобожденный» и «Бекон с зеленью».

— А это связано с самим Гримальди.

Молодой человек показал на афишу в самом углу, где большими черными буквами объявлялось, что «прощальный бенефис мистера Гримальди состоится в пятницу 27 июня 1828 года. Он откроется *Музыкальной смесью*, продолжится *Неродным ребенком* и завершится *Шуткой Арлекина*». Лино шагнул к афише и прикоснулся к ней пальцем; должно быть, именно в тот вечер Гримальди сказал: «Сорок восемь лет протекло над моей головой, и я быстро иду на дно». Но рядом с этой афишей была еще одна, которая поразила его. Грубо отпечатанная на пожелтевшей бумаге, она возвещала о том, что выступит «Дэн Лино, по-прежнему чемпион из чемпионов, комический певец и непревзойденный мастер чечетки в деревянных башмаках. Только на этой неделе».

— Это было в «Ковентри», — сказал он. — Лет тому изрядно.

— Я знаю, сэр. Я увидел ее на стене — извиняюсь — в лавке старьевщика на Олд-Кент-роуд. Я тут же ее цапнул, конечно.

Так что, по крайней мере в этой каморке, Джозеф Гримальди и Дэн Лино существовали бок о бок. Лино оглянулся на молодую

женщину, перемогающуюся на узком тюфяке, и увидел над ней на стене лист с песенкой «После свадьбы она уж не жалилась».

— Теперь я должен вас оставить, — сказал он. — Иду прямо к моему врачу. — Прежде чем покинуть комнату вслед за молодым человеком, он мягким незаметным движением положил еще один соверен на маленький сосновый столик. — Скажите вашу фамилию и адрес, — попросил он, когда они вышли в сумрачный двор. — Чтобы он смог вас найти.

— Чаплин, сэръ. Гарри Чаплин. Нас тут все знают.

— Хорошая старая театральная фамилия. — На мгновение он положил руку молодому человеку на плечо. — Врач будет у миссис Чаплин очень скоро. И еще раз до свидания.

Лино вышел из Клэр-маркета и по пути домой в Кларкенуэлл оставил у своего домашнего врача, жившего на Даути-стрит, записку с просьбой срочно посетить миссис Чаплин; таким образом он, можно сказать, спас жизнь еще не родившегося ребенка.

После дня, проведенного в читальном зале Британского музея, Лино буквально заболел Гримальди; он жадно кидался на все, что только мог о нем найти, и не далее как вчера наткнулся на эссе Де Куинси о пантомиме, где Гримальди назван «воплощением крика без речей». Он прочел эссе от начала до конца, сидя в кресле в гостиной, и, дойдя до последней страницы, потушил лампу и отправился наверх спать. Вот почему на следующее утро книга Де Куинси лежала на столике открытой в том месте, где начиналось следующее эссе — «Взгляд на убийство как на одно из изящных искусств», — и это заметил инспектор Килдэр, пришедший поговорить с «самым смешным человеком на свете».

Для визита у полицейского были достаточно веские причины, и к тому же, вполне естественно, ему было интересно познакомиться с великим Дэном Лино. Килдэра пригласили в гостиную, которую жена артиста украсила восковыми плодами и искусственными цветами, часами из золоченой бронзы и богато вышитыми подушечками; входя в комнату, Килдэр споткнулся о край толстого ковра.

— Не вы первый, не вы последний. — Без сомнения, это был его, Лино, неповторимый голос, но, повернувшись, детектив, воображению которого рисовалось некое вымазанное гримом диковинное существо, увидел всего-навсего маленького, подвижного, опрятно одетого

человека, приветливо протянувшего ему руку. — Миссис Лино имеет слабость к коврам.

Прошла уже неделя после убийства семьи Джеррардов на Рэтклиф-хайвей, и Дэн Лино ждал этого визита; дело в том, что Джеррард до того, как открыть собственную торговлю, был у Лино костюмером в «Кентербери» и некоторых других мюзик-холлах, и с той поры артист поддерживал с ним приятельские отношения. Были, впрочем, и другие любопытные обстоятельства, связывавшие Лино с убийствами, которые совершил Голем из Лаймхауса. Джейн Квиг, первая жертва, чье тело было обнаружено на каменной лестнице у Лаймхаус-рич, говорила подруге, что «пойдет посмотреть Лино» в новой пантомиме, и похвалялась — без всяких, как выяснилось, на то оснований, — что «зналась с ним». Но и это еще не все; Элис Стэнтон, проститутка, убитая у белой пирамиды рядом с церковью Св. Анны в Лаймхаусе, была одета в амазонку с пришитым изнутри к воротнику полотняным ярлычком, на котором стояла надпись: «Мистер Лино». Полицейским детективам из восьмого округа пришла даже в голову мысль, что Голем из Лаймхауса, возможно, имеет целью расправиться с самим Дэном Лино и подбирается к нему по цепочке связанных с ним лиц; но эта версия была все же отброшена как слишком замысловатая. Полицейские поняли происхождение надписи, когда обнаружили (мы это уже знаем), что Элис Стэнтон регулярно покупала подержанные вещи именно у Джеррарда, которому, в свою очередь, они нередко доставались от прежнего работодателя. Так-то и вышло, что Элис умерла в костюме наездницы из «Шалтая-Болтая», которую не хотел везти «Тед, коняга из упрямых».

— Любопытное произведение, сэр. — Килдэр уже обратил внимание на томик, раскрытый в начале эссе «Взгляд на убийство как на одно из изящных искусств».

Лино взял книгу и посмотрел на нее.

— Эту вещь я еще не читал. У вас к ней какой-то особый интерес?

Он бросил на Килдэра острый взгляд, и на мгновение ему пришлось в голову, что есть в этом полицейском некая странность.

— Тут говорится об убийстве Марров, сэр. По диковинному совпадению оно произошло в том же доме, что и...

— ...убийство Джеррардов? — Лино с неподдельным страхом посмотрел на первую страницу эссе. — Какой ужас. — Он перевернул

несколько страниц и выхватил взглядом фразу «...конечная цель убийства в точности та же, что у трагедии». — Отсюда веет чем-то греческим. Фурии или как они там звались.

— Не греческим, сэр, а лондонским. У нас тут имеются свои фурии. — Килдэр не мог поверить, что перед ним тот самый человек, который заставляет весь зал хохотать до колик. — Не могли бы вы мне рассказать о ваших отношениях с семьей Джеррардов?

Говоря о своих встречах с бывшим костюмером, Лино все ждал момента, когда можно будет спросить Килдэра о ходе расследования.

— Скажите мне теперь, — сказал он, завершив рассказ. — Газеты пишут, что уцелевших не было, и все же я питаю слабую надежду, что хоть кто-нибудь из детей...

— Нет-нет, сэр. Дети все погибли. Могу я вам доверить один секрет?

— Конечно. — Взяв детектива за руку, Лино подвел его к окну, занавешенному тяжелыми шторами.

— Один из членов семьи действительно остался жив.

— Кто?

— Сестра мистера Джеррарда, сэр. Во время убийств она спала в мансарде и проснулась, когда соседи обнаружили трупы и поднялся шум. Она приняла опиум от зубной боли.

— И ничего не видела, не слышала?

— Так она сама считает, но шанс все же остается. Она перепугалась до смерти, и пока что ни мне, ни другим не удастся от нее добиться ничего путного.

Нанося этот визит в Кларкенуэлл, Килдэр имел главной целью не допрос Лино или его семьи: он знал, что во время убийства Джеррардов комик выступал в «Оксфорде» и что он подобным же образом был занят, когда совершались другие преступления. Всему Лондону было известно, что Дэн Лино на сцене шесть вечеров в неделю. Килдэру он был нужен прежде всего как наблюдательный человек; детектив был достаточно умен, чтобы понимать, что Лино, как никто, способен при общении с другими людьми заметить мельчайшую подробность, почувствовать едва уловимую интонацию. Вот почему Килдэр изменил теперь направление беседы.

— Мистер Лино, можете ли вы припомнить какую-либо нервозность в поведении мистера Джеррарда?

— Нет. Ничего такого не было. В последнюю нашу встречу он был поглощен новой партией платьев, и разговор наш свелся к простому обмену любезностями. — Он не упомянул о том, что разыграл перед семейством свой новый номер с пением и танцем: уж слишком это было причудливо, чтобы теперь рассказывать. — Фрэнк Джеррард обладал замечательным чувством ткани.

— Были ли у него враги?

— Только не в театре. У нас в мюзик-холлах есть и зависть, и соперничество, но во многом все это бутафорское. К тому же актеры так пьют, что просто не в состоянии помнить обиды.

Говоря это, он, возможно, подразумевал, среди прочего, одну свою особенность, которой был обязан прозвищами Губка и Насос: когда Лино пил, он пил бесшабашно и без всякой меры, и на следующее утро он просыпался как заново рожденный. Ему потом рассказывали, что пьяный он изображал различные свои сценические персонажи, доводя их до предела эксцентризма и вычурности, так что даже ближайшие друзья не могли порой угнаться за полетом его фантазии. Пробудившись в чужом кресле или на незнакомом полу, он чувствовал себя умиротворенным, словно претерпел изгнание бесов.

— Нет-нет, — продолжал он. — Мы никогда по-серьезному не подличаем. К тому же Фрэнк был прекрасным костюмером.

Он смахнул нитку с плеча у Килдэра, и полицейский широко раскрыл глаза, но миг спустя успокоился.

— Хочу еще вам сообщить об одном очень странном обстоятельстве, мистер Лино. Это связано с эссе, которое вы читали.

— Я его еще не читал. Я же сказал вам.

— Разумеется, я вполне вам верю. Я ни в чем вас не обвиняю. Но любопытно, что убийца, по всей видимости, изучал это произведение, прежде чем убить вашего друга. Совпадений столько, что их не объяснишь простой случайностью.

— Выходит, он начитанный человек?

— Образованный, в этом нет сомнений. Может показаться, что он, как актер, играл некую роль.

— Которую выучил по этой вот мерзкой книжке?

Килдэр не ответил на этот вопрос; он смотрел, как Лино хватает книгу и в сердцах швыряет ее на ковер.



— Я когда-то имел удовольствие видеть вас в комической версии «Марии Мартен».

— Как же, как же. «Красный амбар» — сколько лет, интересно, прошло?

— Я очень хорошо помню, как убийца схватил вас за горло и чуть не удавил до смерти. Он случайно бритвой потом вас не резал?

— Это был не он, а она. В те годы на сцене было много смертоубийства.

— К чему я и клоню. Этот преступник, этот Голем из Лаймхауса, как его называют, ведет себя так, словно он играет в каком-нибудь второсортном театре ужасов около Олд-Кент-роуд. Море крови, кишки наружу, и все на публику. Престранно получается.

Секунду-другую Лино размышлял над тем, что услышал.

— Я и сам на днях думал в таком же роде, — сказал он. — Многое здесь кажется вовсе нереальным.

— Гибель людей была вполне реальной.

— Да, но вся, так сказать, атмосфера: газетные заголовки, толпы зевак — все это смахивает на дешевый балаган или варьете. Понимаете, о чем я? — Оба помолчали. — Могу я увидеться с уцелевшей женщиной? С мисс Джеррард?

— Я не уверен...

— Позвольте мне поговорить с ней, инспектор. Она меня знает. Она видела меня на сцене и, думаю, мне доверяет. Может быть, я смогу выудить из нее такие подробности, каких вашими методами не получишь. Видите ли, Дэну Лино люди рассказывают всё.

— Что ж, если вы сами хотите... Любая помощь будет мне полезна.

Они быстро обо всем условились, и на следующее утро Дэна Лино привезли в Пентонвилл, в меблированные комнаты, куда полиция тайно поселила мисс Джеррард; надеялись, что в дальнейшем она сможет опознать голос или походку Голема из Лаймхауса, а пока решили оберегать ее от докучного внимания газетчиков.

— Что же мне вам сказать, милая Пегги, — произнес Лино, войдя в ее комнату. — Ужасное несчастье.

— Ужасное, мистер Лино.

— Дэн.

Он смотрел, как она медленно поводит головой из стороны в сторону, словно ей неприятно останавливать взгляд на чем бы то ни было. Вообще-то она была статная и хорошо сложенная женщина, но теперь в тусклом освещении дешевого жилища она казалась чуть ли не бесплотной.

— Оттуда ни звука не доносилось, Дэн. Ни звука. Иначе я бы спустилась. Я бы смогла ему помешать. — Лино сразу понял, что вывести ее из круга этих мыслей совершенно невозможно. — Он должен был пощадить детей, Дэн. Убил бы меня. А их бы оставил в живых. Они были как детишки в лесу.

— «Мы заблудились — все кругом так хмуро. Что там за незнакомая фигура?» — Это была одна из первых ролей «чудомалыша» Лино, и, произнося эти строки, он на какое-то мгновение проникся предсмертным ужасом детей Джеррарда. — В чем вся прелесть пантомимы, Пегги. В нее верят, пока она идет. Жизнь — штука более жестокая. Я думаю, мы играем пантомиму именно ради этого. Чтобы смягчить жестокость хоть ненамного.

— Вы заставляете людей смеяться, Дэн. Но я теперь смеяться не способна.

— Конечно, иначе и быть не может. Когда такое происходит, Пегги, я совершенно лишаюсь дара речи. Правда, лишаюсь.

— Не огорчайтесь из-за этого.

— Как же мне не огорчаться? Я хотел объяснить вам, что чувствую, и облегчить этим ваше горе. Так все нелепо. Так бессмысленно.

К нему приходили только самые смиренные, самые робкие слова утешения, а на сцене он мог бы разразиться пышной горестной тирадой, после чего выставить свою же беду на смех.

— Теперь все будет в порядке, — сказал он. — Все у вас будет в порядке.

— Ох, не думаю, Дэн.

— Я тоже, правду сказать, не думаю. Но, знаете, время залечивает раны. — В этой маленькой комнате он ощущал стеснение и беспокойство и теперь начал ходить взад-вперед по краю вытертого коричневого ковра. — Я вот что, пожалуй, сделаю. Помогу вам открыть небольшую торговлю одеждой где-нибудь подальше отсюда. Семья родом из Лидса?

— Из Манчестера.

— Ну вот, что может быть лучше, чем магазинчик в Манчестере?

— Но я не могу...

— Вы одна после него остались, Пегги. Вы должны ради него.

— Если вы так это поворачиваете...

— Да, я так это поворачиваю. Но о чем я попрошу вас прямо сейчас — это немного поспать. Вы страшно вымотаны, Пегги. Пойдемте. Спальня там у вас?

Лино всегда умел дать точные указания, и теперь он словно вел репетицию. Пегги встала и двинулась было к двери, но тотчас же вернулась, как будто не была уверена, что от нее хотят именно этого.

— Почему все же это случилось, Дэн?

— Не могу сказать. Тут слишком... слишком глубоко.

Странная, вероятно, характеристика для такого жестокого преступления, но в тот миг он подумал о сходстве между убийствами Марров и Джеррардов. Здесь чувствовался ритуальный элемент, который при всей искренности его ужаса возбуждал в нем и некий интерес.

— Все на свете должно иметь причину, Дэн, разве нет? — Она теребила шею пальцами левой руки. — Не помню слово, но идут разговоры про это... существо.

— Про Голема? — Дэн будто отмахнулся от этого прозвания, как от радужного мыльного пузыря. — Слишком был бы легкий ответ. Забавно, что люди меньше боятся Голема, чем боялись бы просто человека.

— Но многие в него верят. Вот и все, что я слышала.

— Люди готовы поверить во что угодно. В этом я давно убедился. Знаете, как я всегда говорю? Верь не речам, а очам. — Он вновь беспокойно мерил шагами комнату. — Можно предположить, — сказал он, — что убийца был знаком с вашим братом. Вы, случаем, не замечали кого-нибудь поблизости? До того, как это произошло.

— Как вам сказать? Вот кручу, кручу все в голове без конца.

— Ну так давайте. Прокрутите еще разок.

— Когда стало смеркаться, я открыла окно мансарды, просто чтобы подышать, и мне показалось, будто внизу движется какая-то худенькая тень. Я понятно говорю? Я про это сыщику сказала, но он говорит, они ищут большого широкоплечего мужчину.

— Этакого льва?

— Наверно. Но я-то увидела всего-навсего маленького бродяжку.

— Ну-ка поглядим. — В игру мигом вступило творческое начало, все, что Лино знал о пластике и жесте, и он бочком скользнул в угол комнаты.

— Примерно так, Дэн. Только еще плечи слегка шевелились.

— А теперь?

— Вот-вот, похоже.

— Забавно получается, Пегги. Хотите — верьте, хотите — нет, но выходит, что вы видели на Рэтклиф-хайвей женскую фигуру.

## Глава 35

Когда по делу Элизабет Кри был произнесен приговор, в зале повисла долгая тишина. Эта тишина, поняла она, будет окружать ее до самого конца. Эта тишина — навсегда. Можно кричать, но не будет никакого эха. Можно молить, но ни единого звука не раздастся в ответ. Если существуют на свете прощение и жалость, то они немые, у них вырезан язык. Тишина была полна угрозы: настанет день, когда она развернется и поглотит свою жертву. Но было в ней и некое обещание, зов к причастию, к растворению в общности безмолвия.

Ее признали виновной в убийстве мужа и приговорили к смертной казни через повешение, которая произойдет во дворе той же тюрьмы, где арестантка содержалась. Она знала с самого начала, что ей придется увидеть на голове судьи черную шапочку, и не испытала особенных чувств, когда он ее надел; вид у него, подумала она, как у Панталоне из пантомимы. Нет, слишком уж румян и толст. Если на что и егодится, то разве на роль Дамы. Ее провели из зала суда подземным коридором, посадили в закрытую карету и отвезли в Камберуэллскую тюрьму. Даже тогда ей не захотелось ни вздохнуть, ни заплакать, ни помолиться. Кому молиться, какому богу? Тому, который знает правду о ее поступках и о поступках ее мужа? Ночью в камере смертников она затянула одну из своих любимых песен — «Слишком я молода, чтобы знать». В последний раз перед тем она ее пела, когда похоронили Дядюшку.

## Глава 36

После того как Дядюшка покинул нас ради грандиозной небесной пантомимы, у нас с Дэном никогда уже не было прежней дружбы. Он, конечно, не грубил мне в лицо, но я чувствовала, что он избегает меня; хотя он никогда об этом не упоминал, думаю, он обиделся из-за того, что Дядюшка оставил мне по завещанию пятьсот фунтов и все свое фотографическое снаряжение. Порой мне приходило в голову, что Дэн может знать про постыдный Дядюшкин секрет и догадываться, что я в этих делах участвовала, но тут ничем помочь было нельзя. Так что мы оба пытались сохранять прежнюю мину, но бывшее рвение во мне иссякло. Публике очень нравился один мой номер — мелодичная песенка под названием «Плач ирландской служанки по дому, или Где ты, где, моя картошка?» — и все же нужное душевное расположение меня покинуло. Смерть Дядюшки, вероятно, подействовала на меня сильнее, чем я думала, и в поисках поддержки и утешения я безотчетно обратилась к Джону Кри. Я, конечно, видела, что он джентльмен; другие репортеры не шли с ним ни в какое сравнение, и Дядюшка давно уже сказал мне, что у Кри имеются «виды на будущее».

— Знаю, — ответила я, сама невинность. — Он мне говорил, что пишет пьесу.

— Да я не про то, милая. Я про бакшиш. Про деньги, в общем. Когда-нибудь он в золоте будет купаться. Его папаша богат, как Аладдин.

Джон Кри уже в ту пору выказывал мне знаки внимания, и должна признаться, что Дядюшкина новость пробудила во мне некоторый интерес.

Примерно через месяц после похорон я сидела в зеленой комнате «Уилтона» с Дьяволо, одноногим гимнастом, и тут вошел Джон Кри.

— А вот и «Эра» пожаловала, — сказала я. — Вы видели Дьяволо на проволоке, мистер Кри?

— Еще не имел этого удовольствия.

— Такое нельзя пропускать. Вы, конечно, посидите с нами минутку?

Он пододвинул стул, и мы начали обмениваться сплетнями, как все делают в мюзик-холлах, а потом Дьяволо сказал, что пойдет глотнуть вечернего воздуха; он был равнодушен к копченым колбаскам и вскоре, я знала, будет уписывать свою порцию, запивая стаканом портера.

— Ну что же, Лиззи, — сказал Джон Кри, когда он вышел. — Словно сама судьба нас все время сводит.

— Когда это я вам разрешила называть меня Лиззи?

— В среду на позапрошлой неделе во второй кабинке мясного ресторана Блэра.

— Что за память. Вам бы на сцену, мистер Кри.

— Джон.

— Сделайте одолжение, Джон, проводите меня к выходу. Тут что-то душно.

— Двинемся по следам Дьяволо?

— Нет. Я знаю его привычки. Это было бы не деликатно.

— Тогда, может быть, прогуляемся? Вечер для этого превосходный.

Мы вышли из «Уилтона» и направились в сторону Уэллклоусквер. Не сказать, что это лучшая часть города — оттуда рукой подать до Шадуэлла, — но почему-то я чувствовала себя с ним в безопасности.

— Как подвигается «Перекресток беды»? — поинтересовалась я.

— Вы знаете, дело идет. Я почти уже закончил первый акт. Но что-то не могу все решить, как поступить с героиней.

— Убейте ее.

— Вы серьезно?

— Нет, я никогда не говорю серьезно, — попробовала я отшутиться. — Я считаю, ей надо выйти замуж. Главная героиня всегда кончает замужеством.

— Вы так думаете?

Я ничего не ответила, и мы продолжили путь в сторону реки. Ближе к ней дома стояли не так плотно друг к другу, и я увидела мачты кораблей, бросивших якорь в доке; в какой-то миг на память мне пришел Ламбет с его зашвартованными у берега рыбацкими судами.

— Я рассчитываю, — сказал он наконец, — что, когда я закончу пьесу, вы сыграете в ней главную роль.

— Как зовут героиню?

— Кэтрин. Кэтрин Горлинс. В настоящий момент она стоит на грани нищеты и падения, и я размышляю над тем, не спасти ли ее в следующей сцене.

— Нет, пусть себе идет на дно.

— Почему?

— Джон, меня иногда удивляет, как мало вы смыслите в театре. Людям нравится видеть грязь на сцене. — Я помолчала. — Конечно, в последнем акте вы можете ее спасти. Но сперва пусть пройдет весь путь страданий.

— Лиззи, я и не думал, что в вас скрывается драматург.

— Это жизнь. Больше ничего. Жестокая, мрачная жизнь. — Я взяла его под руку, чтобы он помог мне миновать выбоину, и легким пожатием дала ему понять, что не столь сурова в мыслях, как в словах.

— Я думаю, — сказал он, — что в этой вот жизни вам нужно на кого-то опираться. Если она так мрачна, вам не обойтись без советчика и защитника.

— Дядюшка был для меня всем этим, да и не только этим.

— Простите мне мою прямооту, Лиззи, но Дядюшки нет больше на свете.

— Есть еще Дэн.

— Дэн — великий артист, и он не станет жертвовать собой ради вас или кого-либо другого.

— Разве я говорила о жертвах?

— Но вам необходимо именно это, Лиззи. Вам необходим человек, безраздельно вам преданный.

Я рассмеялась своим легким сценическим смехом.

— И где же я найду подобное существо?

Мы уже подошли к самому берегу и видели в отдалении силуэты куполов, шпилей и крыш.

— В каком-нибудь акте «Перекрестка беды» вам нужен будет такой задник, — сказала я, чтобы прервать молчание. — Это сильно подействует.

— Лондон всегда так вот и изображают. Нет, я хочу дать меблированную комнату или питейное заведение. Вот где надо искать подлинную жизнь. — Мы все еще шли под руку, и теперь он накрыл



мою ладонь своей. — Неужели на это нет никакой надежды? На подлинную жизнь?

— О чем это вы? Растолкуйте, я не понимаю.

— Я думаю, вы понимаете, Лиззи.

— Ну, раз так, мне нужно помочь вам с пьесой, Джон. Если бы моя собственная жизнь оказалась где-то внутри нее...

— Это было бы просто чудесно.

С той самой поры, как умер Дядюшка, я мечтала покинуть мюзик-холлы и выйти на драматическую сцену. Если Джон Кри будет моим автором и покровителем, что мне мешает стать новой миссис Сиддонс или Фанни Кембл? После того вечера мы стали ближе друг другу и вместе побывали во всевозможных уголках, будивших воображение; мне нравились диорама на Лестер-сквер и искусственный водопад на Масуэлл-хилл, он же предпочитал городские трущобы. Он говорил, что они его вдохновляют, — что ж, как я постоянно твержу, о вкусах не спорят.

В зеленой комнате, естественно, на наш счет уже вовсе шушукались, и однажды я заявила ему, что мы не можем так много времени проводить вместе, не прояснив наши отношения для окружающих. Несомненно, этого-то он и ждал, на это надеялся, и в последний день 1867 года произошла наша помолвка. Мне не терпелось перейти в католичество — в мюзик-холлах все к нему равнодушно, — и весной в церкви Богоматери на Камнях, что в «Ковент-Гардене», состоялось скромное бракосочетание. К алтарю, как сироту, меня вел Дэн Лино, шлейф держали четверо комических танцоров; все мои театральные друзья-подружки были тут как тут, и комик «скелет» Ридли произнес за свадебным ужином очень милую речь. Я настаивала, чтобы Дэн сказал хоть два слова, но он, что странно, отнекивался. Впрочем, я знала, как его разговорить: стала усиленно подливать ему чего покрепче, и после нескольких рюмок он расщедрился на чрезвычайно галантный тост.

— Я так давно знаю ее как Лиззи с Болотной, — сказал он, — что, наверно, никогда не привыкну к миссис Кри. Мы познакомились в старом зале на Крейвен-стрит так много лет назад, что пора уже ей отпускать бороду. Чего только она не выделявала в мюзик-холлах! Она была самым наиглавнейшим из главных мальчиков, самым светлым лучом для осветителей, самой синхронной из синхронных танцовщиц.

Она гипнотизировала гипнотизеров, рождала иллюзии у иллюзионистов, в потасовке на сцене любому могла дать таску. И вот теперь она смыла грим, скинула театральные шмотки, собрала свои манатки и раз и навсегда взяла карету до дома...

Он заметно пошатывался, поэтому я погладила его по руке и поблагодарила его. Он поднял бокал, поднес к губам и рухнул на длинный стол в беспамятстве. Вечер был полон великолепных экспромтов, для меня тем более трогательных, что все это я видела, считай, в последний раз. Так окончилась вторая из моих жизней.

## Глава 37

*Газета «Морнинг адвертайзер» от 3 октября 1880 года поместила на первой странице следующее:*

«Дабы удовлетворить интерес читателей, мы приводим здесь изображение голема, которое печатается с гравюры, принадлежащей мистеру Эври, известнейшему холборнскому книгопродавцу. Просим вас обратить внимание на размер существа сравнительно с размером жертвы и на его глаза, горящие наподобие сигнальных фонарей. Готическая надпись под изображением уведомляет нас о том, что чудовище слеplено из красной глины, но мы позволим себе в этом усомниться. Трроризирующее наш город существо наверняка изготовлено из какого-то более прочного материала, иначе оно не могло бы расправляться со своими жертвами так, как это происходит. Мы обсудили этот вопрос с доктором Пэйли из Британского музея, и он, проведя специальное исследование старинных европейских легенд, полностью подтвердил наши соображения. Он не видит препятствий к тому, чтобы голем был сделан из камня, металла или другого долговечного вещества. Ученый добавил (*Horribile dictu!*<sup>[25]</sup>), что чудовище способно по своему желанию изменять облик! Он сообщил нам далее, что големы всегда творятся в больших городах и обладают неким ужасным инстинктом, позволяющим им безошибочно ориентироваться среди городских улиц и переулков.

Сказанное, вероятно, не удивит миссис Дженнифер Хардинг, пользующуюся доброй славой торговку домашней птицей с Мидл-стрит, которая утверждает, что видела, как это существо пьет кровь на бойне близ Смитфилда, а потом удаляется в сторону больницы Св. Варфоломея. Энн Бентли, уличная торговка спичками, пребывает в состоянии истерии с прошлой пятницы, когда она была, по ее словам, схвачена неким бледным созданием без глаз. Собираясь войти в работный дом в Уоппинге, где в „гнилой палате“ содержится ее мать, она неожиданно подверглась нападению этого чудовища и почувствовала, что ее куда-то уносят. Она тут же впала в беспамятство и пришла в себя на Чартерхаус-сквер, где ее обнаружили лежащей, причем одежда ее была в беспорядке. Она утверждает, что Голем

„заголил ее“ и „запустил в нее зубы“, словно в какой-нибудь фрукт; теперь ей кажется, что она от него понесла, и она боится, что родит уродца. Любые новости об этом происшествии мы, разумеется, немедленно сообщим нашим читателям. Пока что несчастная находится в шадуэллской лечебнице для душевнобольных.

Пугающие сообщения, подобные этому, доходят до нас как с левого, так и с правого берега реки. Мистер Райли из Саутуарка пишет нам, что в начале прошлой недели было замечено, как существо необычайной силы и ловкости лазит по крышам домов на Борохайроуд; просим Вас, мистер Райли, извещать нас обо всех новых наблюдениях. Миссис Баззард, владелица мастерской по изготовлению стульев на Кертен-стрит, была в прошлый понедельник потревожена „тенью“, которая, по ее словам, преследовала ее по пятам, пока она криком не выбежала на Шордич-хай-стрит. К настоящему времени она вполне оправилась и готова подарить превосходный стул любому, кто даст этому таинственному происшествию удовлетворяющее ее объяснение. Вновь по поводу этого случая, как и по многим другим поводам, слово „голем“ было у всех на устах. Тем же, кто заявляет, что не верит подобным свидетельствам, мы скажем: есть многое на свете, друг Горацио, — и так далее, и так далее. В последние годы нам открылись тайны в разнообразнейших областях, от снежинки до солнечной системы. Кто осмелится утверждать, что тайн больше не осталось?»

## Глава 38

Сочетавшись браком, мы с Джоном Кри поселились в небольшом доме в Бэйсуотере, поблизости от старого ипподрома; там у меня началась жизнь, настолько не похожая на прежнюю мою жизнь в мюзик-холлах, что порой я щипала себя изо всей силы, желая удостовериться, что Лиззи былых времен не исчезла окончательно. Как бы то ни было, никаких больше шуточек и никаких больше песенок — для окружающих я теперь была миссис Кри, и я постоянно помнила, что ни словом не должна проговориться о своем прошлом лавочникам или соседям. Впрочем, к тому, чтобы я когда-нибудь вышла на драматическую сцену, не было, конечно, никаких препятствий, и я всячески побуждала моего супруга продолжать работу над «Перекрестком беды», когда видела, что запал у него иссякает. Я никогда бы не позволила ему бросить пьесу совсем: я всей душой симпатизировала героине и знала, что смогу сыграть эту роль с блеском и пафосом. Среди мечтаний на эту тему мне как раз и пришла в голову прелестная мысль. Едва мы начали жить в Бэйсуотере, как я почувствовала, что мне нужна горничная. Так где же мне искать хорошую служанку, как не там, на Перекрестке беды, где собираются люди из мюзик-холлов? Про большинство я знала, кто чего стоит, и была уверена, что без труда найду порядочную и работающую молодую женщину, уставшую от поисков работы в мюзик-холлах. Может быть, ей, как мне самой, приходилось исполнять роль служанки в какой-нибудь простонародной комедии, тогда ее не придется долго обучать элементарным манерам. К тому же можно будет всласть посплетничать в тихие часы!

Я немедленно надела чепец и, не говоря ни слова сидящему у себя наверху милому моему драматургу, вышла из дома и остановила кеб. Казалось, век прошел, прежде чем мы дотащились до Перекрестка беды (или «Нищего угла», как всегда называл его Дэн), и я прильнула к окну, всматриваясь в толпу артистов; многие лица в ней были, естественно, мне знакомы, и, проезжая, я с трудом сдерживалась, чтобы не помахать. Я остановила кеб за углом, на Иорк-роуд, попросила кучера немного подождать и быстро пошла к печальному сборищу. Там был трюкач, которого я встречала в зале «Куинс» в

Попларе; он отвесил мне низжайший поклон, будучи, конечно, вполне уверенным, что я, как и он, лишилась работы. Я прошла мимо отвратительной серьезно-смешной артистки из «Парагона», которая сделала вид, что не узнала меня, и вдруг заметила Эвлин Мортимер, обессиленно прислонившуюся к стене. Увидев ее, я, надо признать, улыбнулась, ведь это была та самая Эвлин, которая подбила меня посулить еврейской публике *мейса мейшина* и чуть не стала причиной моей собственной скоропостижной смерти. Когда я подошла, она, насколько могла, выпрямилась и приосанилась, но мне приятно будет сказать, что она выглядела бесконечно утомленной и отчаявшейся.

— Ну и ну, — сказала она. — Это же Лиззи с Болотной.

— Вовсе нет. Миссис Джон Кри.

— Везет же некоторым.

Мысль пришла мне в голову мгновенно.

— Давно ты без работы, милая?

— С неделю примерно.

По ее одежде было видно, что она говорит неправду.

— Правильно я понимаю, Эвлин, что ты ищешь себе хорошенькую рольку?

— Тебе-то что, Лиззи?

— Только то, что я хочу предложить тебе место.

Она посмотрела на меня с изумлением.

— Ты что, мюзик-холл свой заимела?

— Чего нет, того нет. Есть просто холл, который нужно содержать в чистоте. — Видно было, что она не понимает. — Я хочу тебя нанять, милая. К себе в дом, служанкой.

— *Служанкой?*

— Ты не спеши отказываться. Тридцать шиллингов в неделю плюс полный пансион. И каждый второй уик-энд свободна. — Предложение было очень заманчивое, и она заколебалась. — Я не буду очень строгой хозяйкой, Эвлин, и все прошлые недоразумения уже, считай, забыты.

— Сказать-то можно что угодно...

Я видела, что она мне не вполне доверяет — подозревает, может быть, что это с моей стороны какая-то изощренная месть.

— Подумай, как славно мы будем болтать о старых временах. — Она все еще колебалась, и я зашептала ей на ухо: — Лучше куда

угодно, чем на дно. Ты что, так и кончить собираешься на улице?

— А две гинеи можно?

— Тридцать пять шиллингов. Больше, к сожалению, не могу.

— Ну хорошо, Лиззи. Я согласна.

— Ты просто умница. — Я вынула из сумки шиллинг и вложила ей в руку. — Я приду через полчаса. Пока будешь ждать, купи себе бекона с зеленью, подкрепись. — Я отправилась было на Кэтрин-стрит в магазин Хейста и Спенлоу купить ей аккуратненький костюм горничной с крахмальным чепчиком и воротничком, но вдруг передумала и вернулась. — Нет, Эвлин, поехали лучше вместе. А то еще куплю не тот размер.

С независимым видом она уселась в кебе рядом со мной.

— Готовить буду я? — спросила она, когда кучер хлестнул лошадей.

— Конечно, ты, Эвлин. Я думаю, ты это умеешь, как и многое другое.

— Да. Меня научили в работном доме. — На моем лице, должно быть, мелькнуло удивление, потому что она вдруг рассвирепела. — Лучше тебе знать это ныне, чтобы уж я присно была спокойна. — Это было вполне в ее духе — приплести без всякого толка слова из богослужения.

— Ты не у Магдалины<sup>[26]</sup> была, милая?

— Нет, не у Магдалины, благодарю покорно. Я, может, и бедствовала, но на панель не ходила. Как была, так и осталась чистая.

Этому я не поверила ни на секунду, но решила ей подыграть: неразумно затевать спор, пока даже платье не куплено.

— Ты знала своих родителей, Эвлин?

— Маму знала. Сколько помню, она всегда жила на пособие от прихода.

— Печально слышать. — Интересно, не правда ли: иные женщины раз — и выпрыгивают из своего прошлого, а другие вязнут в нем на всю жизнь. Бедная Эвлин недалеко ушла от своей матери, а я вот разъезжаю по Лондону в экипаже, как по собственным владениям. — Бедность, должно быть, страшная вещь.

У нее едва не сорвалось с языка ругательство, но мы как раз остановились у «Хейста и Спенлоу». Эвлин ловко выскочила из кеба

на Кэтрин-стрит, после чего я, выждав всего секунду, постучала ей по стеклу.

— Поддай-ка мне руку, Эвлин. Мы ведь идем в общественное место.

Это был первый урок элементарных манер, который я ей преподавала, и она довольно неуклюже, как я отметила, подала мне руку и помогла спуститься. Хотя магазин был почти пустой, она долго не соглашалась, чтобы с нее сняли мерку. Наконец я подобрала ей прелестное платье с серой каймой и вернулась в кеб в хорошем настроении. Едва она вновь уселась рядом со мной, я вынула из пакета чепец и надела ей на голову.

— Вот так. Ну не картинка разве?

— Что я изображаю?

— Юную женственность, Эвлин. Женственность на службе. Примерим остальное?

— Куда, интересно, мы едем? В «Альгамбру»?

Дело в том, что в старые времена, торопясь из одного мюзик-холла в другой, мы часто переодевались прямо в карете. Думаю, именно это заставило ее войти в роль, и, застегнув на шее черный хлопчатобумажный воротничок, она уже была горничной с головы до пят.

— Великое дело — сменить костюм, — сказала я. — Новая женщина народилась на свет.

— Я, наверно, выгляжу как статистка.

— Добавь, пожалуйста, в конце слово «мадам».

— Я, наверно, выгляжу как статистка, мадам.

— Очень хорошо, Эвлин. Нет. Ты не статистка. Ты одно из главных действующих лиц. Теперь повтори за мной: «Что вам еще будет угодно, сэр?»

— Правильно я поняла, что «сэр» — это тот самый твой воздыхатель из «Эры»?

— Я постаралась бы найти другое слово, но ты права. Мистер Кри теперь мой муж. Скажи, что я велела!

Я легонько шлепнула ее по щеке перчаткой.

— Что вам еще будет угодно, сэр?

— Спасибо, Эвлин, больше ничего.



Эту фразу я произнесла мужским баритоном, потом спросила моим собственным голосом:

— Что у нас сегодня на ужин?

Эвлин на мгновение задумалась.

— Рубленое мясо с картошкой?

— Ни в коем случае. Что-нибудь более господское.

— Жареная рыба?

— Выше, выше забирай, Эвлин. Это тебе не Олд-Кент-роуд, это Бэйсуотер.

— Суп из говяжьих хвостов. Потом гусь с гарниром и приправами.

— Вот это другое дело. Превосходно. Теперь скажи — помнишь, как мы в комедиях делали книксен?

— Как я могла забыть?

— Покажи-ка мне, милая.

Она встала с сиденья и в узком проходе ухитрилась быстренько присесть и выпрямиться.

— Великолепно, Эвлин. Я потом дам тебе тетрадочку с некоторыми выражениями — ты их заучишь наизусть. Поняла меня?

— Ты же знаешь, Лиззи, мне не привыкать учить роль.

На этот раз я хлестнула ее по-настоящему.

— Миссис Кри!

Она не сделала ни малейшего движения, чтобы дать сдачи, и мне стало ясно, что я уже полновластная госпожа.

— Теперь веди себя учтиво и пристойно. Мы въехали в Бэйсуотер.

Весь остаток пути она была сама опрятность, само благонаравие, и, когда после остановки она первая вышла из кеба и подала мне руку, было очевидно, что она уже осваивается в новой роли. Подозреваю даже, что уже тогда она стала получать от нее удовольствие. Разумеется, я не могла ей объяснить настоящую причину того, что я взяла ее в дом, — мне и самой эта причина стала понятна лишь когда я увидела Эвлин, стоящую на Ватерлоо-роуд, подобно какой-нибудь ночной прелестнице.

Причина была связана с моим мужем. Сразу же после нашей женитьбы я обнаружила, что он отличается бешеной похотью; в первую же ночь он настойчиво домогался близости со мной и лишь после многих просьб с моей стороны согласился удовлетворить себя

рукой. Для меня сама мысль о том, чтобы впустить в себя мужчину, была — и остается — невыносимой, и я без обиняков объяснила ему, что ни о чем подобном не может быть и речи. Я не могла позволить ему даже прикоснуться к этому месту после того, как по нему прошлась моя мать. Она яростно меня там щипала, она колола меня иглами, а один раз, хоть я была еще маленькой девочкой, поколотила это место палкой. Она давно уже лежала в могиле, а я все равно чувствовала ее руки у себя между ног. Нет, никто больше меня там не тронет.

И вот я спала с мистером Кри в одной постели, разрешала ему ласкать меня руками и даже языком — но более ничего. Он был удивлен и даже удручен моим поведением, но при этом прекрасно понимал, что я достаточно пообтерлась в жизни, чтобы меня можно было поколебать, ссылаясь на так называемые «супружеские права», — в мюзик-холлах, как любил повторять Дэн, мы друг другу либо ровня, либо никто. В артистической голос женщины всегда звучал так же громко, как на сцене. К счастью, мой супруг, как истинный джентльмен, не пытался взять меня силой, и я, оценив его благородство, решила его вознаградить; тогда-то посреди размышлений об актерах, толпящихся на Перекрестке беды, мне и пришла в голову мысль о горничной. Ведь если привлечь внимание мистера Кри к живущей рядом и легкодоступной женщине, его чувственность будет удовлетворена и мне нечего будет за себя беспокоиться. Очень удачно, что мне попала на глаза Эвлин Мортимер: я знала ее как женщину не слишком строгих правил — чего стоило, например, ее сожитительство с черномазым комиком из Пимлико — и была уверена, что от нее удастся добиться желаемого.

— Ну вот, Эвлин, — сказала я, когда мы, приехав домой, расположились в гостиной. — Как ты думаешь, хорошо тебе здесь будет?

— Надеюсь, что хорошо, Лиззи.

— Миссис Кри. — В одежде служанки она стала вести себя куда скромней и почтительней; хороший костюм порой просто преобразует человека. — Тогда пообещай мне вот что, Эвлин. Пообещай меня слушаться и всегда, во всем поступать, как я скажу. Согласна?

— Да, миссис Кри.

Она заподозрила, что у меня имеется какой-то план, — это было видно по ее серьезно-комическому выражению лица, — но я не имела ни малейшего намерения подталкивать ее к чему-либо раньше времени. Порой под какими-то предложениями я оставляла мистера Кри и Эвлин вдвоем и, незаметно наблюдая из-за кулис, предоставляла природе делать свое дело. И при этом мне по-прежнему было его жалко, особенно когда я видела, как он надевает пальто и отправляется в Британский музей.

## Глава 39

Джон Кри потому зачастил в читальный зал, что он был совершенно не в состоянии продолжать работу над пьесой. Причины его беспокойства и нервозности имели, надо сказать, отнюдь не только литературную природу — больше всего он мучился из-за жены. Раньше он знал ее как артистку, выступающую в мюзик-холлах, и вот теперь, после свадьбы, в ее облике проступили новые, незнакомые и тревожащие черты. Он очень ясно сознавал, в чем тут дело: роль жены она исполняла превосходно, но в самой этой четкости, в самой завершенности ее поведения была некая отчужденность. Временами Элизабет Кри и вовсе как бы пропадала, словно кто-то другой заступал ее место, а иногда она начинала вести себя «по-супружески», с горячностью и решимостью, которые выглядели чуть ли не актерскими. Вот где крылась истинная причина его смятения, и он часто ловил себя на том, что, отвлекшись от сочиняемой им мелодрамы, размышляет о скрытой драме своей семейной жизни. Потому-то вместо того, чтобы работать, он читал книги, где шла речь о страданиях лондонских бедняков, и проводил много времени под громадным куполом библиотеки.

С некоторых пор место рядом с ним — С-3 — занимал один и тот же молодой человек, и всю прошедшую неделю Джон Кри мог видеть, как он исписывает беглым почерком листы бумаги крупного формата. У него были длинные темные волосы и пальто, отороченное каракулем, которое он наотрез отказывался отдавать гардеробщику Герберту и которое, вопреки всем правилам, вешал на спинку своего стула, обтянутого синей кожей. Он также, судя по всему, неумеренно гордился своими писаниями: время от времени посреди какой-нибудь особенно длинной фразы он бросал на Джона Кри косой взгляд, желая удостовериться, что на него смотрят. Он часто выходил из читального зала подышать воздухом (Джон Кри видел однажды, как он прохаживается под колоннадой и курит турецкую сигарету) и всегда при этом норовил оставить свои бумаги на виду.

Деятельность молодого человека как таковая поначалу не особенно заинтересовала Джона Кри; он справедливо предположил, что его сосед в недавнем прошлом учился в одном из больших

университетов, а теперь пробует силы в столице на литературном поприще. Но вот книги, которые он заказывал, были небезынтересны: однажды утром, например, Кри заметил, что он читает Лонгина и просматривает гравюры Тернера. Подобный выбор говорил о подлинной утонченности, и Джон Кри теперь был несколько заинтригован трудами молодого человека, нарочито выставляемыми им напоказ. Кри даже зашел столь далеко, что пробежал глазами одну страничку, когда автор в очередной раз отлучился покурить среди колонн; там красивым почерком было написано следующее: «Мы, однако, не должны забывать, что сочинивший эти строки образованный молодой человек, столь восприимчивый к влиянию Вордсворта, был, помимо этого, как я уже сказал в начале настоящего очерка, одним из самых изощренных и тайных отравителей не только того времени, но и всех времен. Томас Гриффите Уэйнрайт не сообщает нам, чем этот диковинный грех прельстил его в первый раз, а дневник, куда он аккуратно заносил результаты своих чудовищных экспериментов и где описывал применяемые им методы, до-нас, к сожалению, не дошел. На протяжении всей своей жизни он не склонен был откровенничать на эту тему и предпочитал говорить о „Прогулке“ и „Стихах, основанных на привязанностях“.<sup>[27]</sup> Делом его жизни было убийство, наслаждением его жизни — поэзия».

## Глава 40

Работа над пьесой у моего мужа не шла. Он проводил столько бесплодных часов в своем кабинете, пуская дым из трубки и чашку за чашкой поглощая кофе (который ему готовила, разумеется, Эвлин), что я потеряла всякое терпение. Когда я напоминала ему о таких добродетелях, как настойчивость и упорство, он вздыхал, поднимался из кресла и подходил к окну, за которым виднелся парк. Мне даже кажется, что порой он испытывал ко мне тихую ненависть за то, что я взывала к его чувству долга.

— Я стараюсь изо всех сил! — крикнул он мне в один из вечеров той осени.

— Возьми себя в руки, Джон Кри.

— Я делаю, что могу. — Он понизил голос. — Но я потерял какую-то нить. Ничего общего с теми днями, когда мы сидели с тобой в зеленой комнате...

— Это время давно позади. Нечего и пытаться его вернуть. Прошлое — прошлое и есть.

— Но тогда, по крайней мере, у меня была связь с миром, и это меня поддерживало. Когда я ходил в мюзик-холлы и работал в «Эре»...

— Не слишком-то респектабельная работа.

— По крайней мере, я чувствовал принадлежность чему-то. Теперь это чувство ослабло.

— А принадлежность мне?

— Она, конечно, существует, Лиззи. Но я не сделаю пьесу из нашей с тобой жизни.

— Я знаю. В ней нет драматизма. Нет театральности.

Глядя на него и жалея его в его слабости, я внутри себя приняла решение. Я сама вместо него допишу «Перекресток беды». Я больше чем достаточно знаю о людях из мюзик-холлов, а что касается бедности и упадка — есть ли в стране еще хоть один автор, которому доводилось шить паруса в Ламбете? И разве я не секла Дядюшку в кровь, разве я не шныряла по улицам Лаймхауса в мужском костюме? Я немало всего насмотрелась. Так что я закончу пьесу, а потом сыграю в ней главную роль в одном из лучших лондонских театров. Я знала, до какого места довел работу мой муж, потому что тайком читала ее по

ночам; я с нетерпением ждала, когда же наконец Кэтрин Горлинс лишится чувств от голода в своей мансарде близ «Ковент-Гардена». В последний момент ее обнаруживает там и спасает от гибели театральный агент, а затем он помещает ее в частный санаторий близ Виндзора. Но дальше Джон не мог продвинуться. И вот я отправилась на Боу-стрит в магазин Стивенсона, купила изрядное количество бумаги и карандашей и взялась за не оконченную им пьесу. Я, надо сказать, обладаю некоторым драматургическим даром, и к тому же, как женщина, я ощущала естественное сродство с Кэтрин Горлинс; сделав Эвлин моей зрительницей, я разыгрывала в гостиной целые сцены, прежде чем доверить их бумаге, и в этих импровизациях мне удалось кое-какие счастливые Находки. Мне уже было ясно, что Кэтрин Горлинс, несчастная сирота, должна восстановить здоровье и в конце концов одержать полную победу над своими недругами. Но пока что она не прошла еще весь путь страданий, и я добавила к версии мужа пару страшных эпизодов. В одной из сцен, к примеру, она в глубокой тоске пьет джин до помрачения рассудка; придя в себя на рассвете, она видит, что лежит в дверях какого-то дома поблизости от Лонг-эйкра, платье на ней порвано, на руках запекшаяся кровь. Как она пришла к этому состоянию — ей неизвестно. Должна признаться, что эту мысль мне подала Эвлин Мортимер; уж не пережила ли она сама что-либо подобное, подумала я, но ничего не сказала. Так что я принялась импровизировать — принимала позы, декламировала, металась взад-вперед по гостиной, пока не добилась желаемого: «Неужели та, которая лежит здесь, — это я? Нет, меня здесь нет. Незнакомая женщина заняла мое место. *(Поднимает ладони к небу.)* Всемогущий Боже, что я могла натворить? О каких ужасах молчат эти окровавленные руки? Может быть, я убила невинное дитя и теперь позабыла об этом безумии? Может быть, я совершила преступление и потеряла о нем всякую память? *(Пытается подняться, но падает вновь.)* Если так, то я хуже диких зверей — им незнакома жалость, но они ведают хотя бы, что творят! У моей жизни есть темная сторона, скрытая от меня же самой. Лишенная света, я живу в пещере моего ужаса! *(Теряет сознание.)*» В неистовстве я сшибла по дороге стул и смахнула вазочку с бокового столика, но Эвлин быстро навела порядок. Сцена вышла зажигательная, а чуть позже — тоже

волнующий момент — зрители должны были узнать, что кровь пролилась при спасении ребенка от пьяного отца.

За месяц я, к моему удовлетворению, закончила «Перекресток беды» триумфальным возвращением Кэтрин Горлинс на сцену; своим крупным, округлым почерком я переписала пьесу начисто и решила немедленно отправить ее с посыльным в лаймхаусский театр «Белл», владелицей которого была миссис Латимер. Она специализировалась на забористых мелодрамах, и в сопроводительном письме я написала, что «Перекресток беды» — вещь смелая и чрезвычайно современная. Я ждала предложения о постановке в следующей же почте, но прошла неделя, а ответа все не было, хоть в письме я и намекнула, что некоторые другие театры уже проявляют большой интерес. Наконец я надумала отправиться в «Белл» собственной персоной и наняла для этой цели карету; рассудив, что впечатление будет сильнее, если она останется ждать меня на улице, я велела кучеру стоять прямо против подъезда, а сама решительно открыла знаменитые двери с витражами. Миссис Латимер — а для близких людей просто Герти — сидела за ширмой в своей маленькой конторе и считала выручку от вчерашнего вечернего спектакля. В первый миг она не узнала меня, одетую как уважаемая замужняя женщина, а потом откинула назад голову и расхохоталась. Она была то, что в среде комических артистов называется «женщина в соку», и жир колыхался у нее под подбородком весьма неаппетитным образом.

— Кого я вижу, — сказала она, — это же Лиззи с Болотной. Как поживаешь, девочка моя?

— Теперь, к вашему сведению, я миссис Кри.

— О, я рада принять это к сведению. Но так упирать на условности — это на тебя что-то не похоже, Лиззи. Когда я в последний раз тебя видела, ты была Старшим Братцем.

— Те времена уже позади, миссис Латимер, новый день на дворе. Я, собственно, пришла по поводу пьесы.

— Что-то не соображу, милая, о чем ты сейчас.

— «Перекресток беды». Автор — мой муж, мистер Кри, пьеса была вам отослана неделю назад. «Ничего, ах, ничего я в ответ не услышала».



— «За прилавком девушка вздыхала»? Ты, я вижу, не забыла свои старые песенки, Лиззи. — Она ни капли не смутилась. — погоди, дай вспомнить. Была, была вещь с таким названием или что-то похожее... — Она открыла дверцу стоящего в углу буфета, и я увидела, что он весь набит связками бумаг и папками. — Если пришла на той неделе, должна сверху лежать. Ну вот, что я тебе говорила? — Первой же рукописью, какую она вытащила, оказался мой «Перекресток беды», и она бегло пролистала пьесу, прежде чем протянуть мне. — Я давала ее Артуру, милая, и он ее отклонил. Сказал, что нет в ней настоящего крепкого сюжета. А сюжет нам позарез нужен, Лиззи, иначе они до конца не высидают. Помнишь, что получилось с «Фантомом из Саутуарка»?

— Но это же была полнейшая чушь. Все эти стоны и завывания.

— Зрители мне едва театр не разнесли, милая. Могу тебя уверить, что громче всех завывала я.

Я принялась рассказывать ей содержание «Перекрестка беды» и пошла даже на то, чтобы прочесть отдельные места, но она осталась непреклонна.

— Не пойдет и не пойдет, Лиззи, — сказала она. — Соус соусом, а мясо-то где? Понимаешь, милая, о чем я? Пожевать нечего.

Я готова была сжевать саму Герти, несмотря на весь ее жир.

— Это ваше последнее слово, миссис Латимер?

— Боюсь, что да. — Теперь, когда с деловой частью было покончено, она откинулась на спинку кресла и оглядела меня. — Так скажи мне все-таки, Лиззи, неужто ты взяла и совсем бросила сцену? Такая прекрасная была комическая артистка. Нам всем очень тебя не хватает.

Я не была настроена с ней откровенничать и собралась уходить.

— Итак, Герти Латимер, что мне передать моему мужу, который трудился над этой пьесой день и ночь?

— В другой раз повезет.

Я вышла из ее конторы, миновала ширму и собиралась уже сесть в карету, как вдруг в голову мне пришла чрезвычайно интересная и необычная мысль. Я вернулась, встала перед ней и положила «Перекресток беды» на стол.

— Во сколько мне обойдется аренда вашего театра? Всего на один вечер?

Она отвела от меня взгляд, и я видела, что она делает в уме молниеносный подсчет.

— Ты имеешь в виду что-то вроде бенефиса, милая?

— Да. Бенефис, можно сказать, в вашу пользу. Мне потребуется только сцена. Вы ничем не рискуете.

Но все-таки она колебалась.

— У меня есть, конечно, окошко между «Пустым гробом» и «Последним вздохом пьяницы»...

— Мне только один вечер и нужен.

— В это время года, Лиззи, плата будет недешевая.

— Тридцать фунтов.

— И все мокрые деньги?

— Идет.

Деньги я взяла из моих личных скромных сбережений, которые хранила в кошельке за зеркалом в своей комнате; я вернулась с условленной суммой через несколько часов, и мы тут же ударили по рукам. Условились о дате — до спектакля оставалось недели три, — и она согласилась предоставить мне весь нужный реквизит и декорации.

— У меня есть великолепный «Ковент-Гарден», — сказала она. — Помнишь «Уличных торговцев»? Там, правда, на этом фоне шел бурлеск, но тебе вполне сойдет для мрачной сцены. Где-то и фонарный столб должен быть — можешь к нему прислониться, милая. Поискать, может, отыщется даже мусорный фургон из «Оливера Твиста», хотя подозреваю, что Артур обменял его на ковер-самолет.

Я поблагодарила ее за фонарный столб, но, по правде говоря, все, что требуется, было у меня внутри.

Я уже знала свою роль наизусть, у Эвлин очень эффектно получалась моя злодейка сестра, и нам нужны были теперь только трое мужчин на эпизодические роли. Их найти было нетрудно: Эвлин знала одного безработного фокусника, из которого вышел отличный пьяница муж, а я пригласила разговорный дуэт: один стал репетировать театрального агента, другой — уличного фата. Все трое тихонько приходили ко мне домой, пока мой супруг попусту тратил время в Британском музее, — я не хотела, чтобы он знал о моих планах, пока я не откроюсь ему «в день события». Какой ему будет восхитительный сюрприз! Единственную трудность составляла публика. Разумеется, я хотела играть перед полным залом, но как этого добиться без афиш и

газетных столбцов? Наконец Эвлин предложила выход: позвать всех лаймхаусских зевак и празднующихся, вообще всех, кто в этот вечер будет свободен. Поначалу я колебалась — мне-то, конечно, хотелось выступить перед избранными ценителями, — но я видела достоинства ее плана. Публика будет не слишком изысканная, но во всяком случае благодарная. Мы обе достаточно хорошо знали эту часть города и утром перед спектаклем раздали самодельные билеты, сулившие бесплатное зрелище. Столько оказалось лоточников, уличных торговцев, грузчиков, которые не прочь были поразвлечься «за так», что мы обеспечили полный сбор меньше чем за час.

— Не забудь, — говорила я каждому, — сегодня в шесть. И не опаздывать, понял?

Я попросила мистера Кри вернуться в этот день из читального зала пораньше под тем предлогом, что нужно урезонить нахального водопроводчика; я ждала мужа в дверях с лицом, исполненным такой радости и любви, что он остановился на крыльце как вкопанный.

— Что случилось, Лиззи?

— Ровно ничего. Только то, что мы с тобой кой-куда сейчас отправимся.

— Куда?

— погоди, скоро узнаешь. Наслаждайся пока что поездкой бок о бок со звездой театра.

За углом нас уже поджидал кеб, вознице заранее было сказано, куда ехать, и мы тронулись бодрой рысью.

— Лиззи. Дорогая моя. Прошу тебя, скажи мне все-таки, куда ты меня везешь?

— Ты должен сегодня называть меня Кэтрин. Кэтрин Горлинс. — Я горела таким нетерпением, что не могла больше от него таиться. — Сегодня вечером, Джон, я буду твоей героиней. Сейчас мы едем на Перекресток беды. — Он никак не мог уразуметь, о чем я толкую; хотел что-то сказать, но я приложила к его губам палец. — Ты всегда к этому стремился. Сегодня твоя пьеса обретет жизнь.

— Она написана только наполовину, Лиззи. Что ты хочешь сказать?

— Она готова. Закончена.

— С тех пор как я пришел домой, ты говоришь одними загадками. Как, скажи на милость, она может быть готова?

В другое время его тон, вероятно, рассердил бы меня, но в тот день ничто не могло выбить меня из колеи.

— Я закончила «Перекресток беды» вместо тебя, мой дорогой.

— Прости меня, я не понимаю.

— Я видела, как ты мучился с пьесой, Джон. Ты не мог ее дописать и считал себя из-за этого литературным неудачником. И вот я взялась за дело сама. Пьеса завершена.

Бледный как полотно, он откинулся на спинку сиденья; потом поднял ладони к лицу, стиснул кулаки. На миг мне показалось, что он хочет меня ударить, но он стал яростно тереть себе глаза.

— Как ты могла? — прошептал он наконец.

— Что могла, дорогой?

— Как ты могла все погубить?

— Погубить? Что погубить? Я просто-напросто закончила то, что ты начал.

— Ты погубила *меня*, Элизабет. Ты лишила меня последней надежды на свершение, на славу. Ты понимаешь, что это значит?

— Но, Джон, ведь ты сам отступился. Ты целыми днями сидел в читальном зале Британского музея.

— Ты в самом деле так мало обо мне знаешь? Ты действительно настолько плохо обо мне думаешь?

— Разговор становится нелепым.

— Неужели ты не поняла, что я не хотел пока что ее дописывать? Что я не был готов? Что я хотел сохранить ее как неизменный центр моей жизни?

— Ты удивляешь меня, Джон. — Я чувствовала себя странно спокойной и даже успела выглянуть в окно, когда мы проезжали диораму на Хаундсдич. — Ты не раз говорил, что тебе, наверно, так и не удастся ее завершить. Я думала, что снимаю с твоих плеч ношу.

— Нет, ты и теперь ничего не поняла. Пока она оставалась неоконченной, я мог на что-то надеяться. — К нему вернулось самообладание, и мне показалось, что еще, может быть, удастся спасти положение. — Как ты не видишь, что в этом вся моя жизнь была? Я мог тешить себя мечтой о литературном признании. И теперь что я от тебя слышу? Что ты дописала пьесу сама.

— Я поражена твоим эгоизмом, Джон. — С мужчинами, я знала, лучшая защита — это нападение. — Мои чувства ты когда-нибудь

принимал в расчет? Тебе не приходило в голову, что я, может быть, устала ждать? Мне предназначалась роль Кэтрин Горлинс. Я много раз прожила эту пьесу. Она настолько же моя, насколько твоя.

Ничего не отвечая, он смотрел в окно — мы въезжали в Лаймхаус.

— Я до сих пор не в силах поверить, — прошептал он сам себе. Потом повернулся и погладил меня по руке. — Я никогда не смогу простить тебя, Элизабет.

На углу Шип-стрит кеб остановился, пережидая, пока проедет фургончик булочника; в этот миг мой муж открыл дверь, спрыгнул на мостовую и прежде, чем я успела что-либо сказать или сделать, двинулся в сторону реки. С того дня Лаймхаус был и остается для меня мерзким, проклятым местом. Но что я могла тогда? Меня ждали в театре, и мне думалось, что мистер Кри, как бы ни был он теперь огорчен, в конце концов убедится, что «Перекресток беды» стал началом моей новой жизни на профессиональной сцене. Так что я поспешила на Лаймхаус-стрит, там легонько чмокнула в щеку стоящую у входа Герти Латимер и напрямик пошла в маленькую уборную, где меня ждала Эвлин.

— Где он? — были первые слова, какие она произнесла.

— Кто, милая?

— Ты знаешь.

— Если твой вопрос касается моего мужа, то он шлет свои извинения. Он не может присутствовать на спектакле. По причине нездоровья.

— О, Господи!

— Не имеет никакого значения, Эвлин. Делаем все, как задумали. Нас ждет успех.

Трое наших партнеров-мужчин были в соседней уборной, и, подойдя к их двери, чтобы проверить, все ли в порядке, я уловила в воздухе запах алкоголя; но я решила ничего им не говорить и отправилась бросить взгляд на зрительный зал. Он наполнялся довольно бойко, но в задних рядах я заметила кой-каких разнузданных типов. Там слонялись две-три продажные девицы и несколько грузчиков распевали то, что Дэн называл «срамные баллады без склада и лада». Но мне было не привыкать к обычаям толпы, и я не ждала особенных неприятностей.

— Как публика? — спросила меня Эвлин, когда я вернулась. Она уже приготовила мой первый костюм, и, скинув повседневное платье, я начала одеваться.

— По-моему, в полном порядке. Готова ко всему.

— Помнишь, как Дядюшка говорил: «Зал блаженствовал»?

— Нечего поминать сегодня Дядюшку, Эвлин. У нас будет представление в совершенно другом духе.

— Кстати, о духе, Лиззи: чуешь, каким духом веет от этой троицы в соседней комнате?

— Чую. Потом я им это припомню, но теперь ничего не поделаешь. Ну-ка, горничная моя, застегни на мне платье.

Я облачилась в великолепное бирюзовое одеяние, символизирующее яркие мечты Кэтрин Горлинс при ее первом появлении в Лондоне; разумеется, я настояла, чтобы Эвлин была одета гораздо более тускло, что соответствует образу моей сестры, злобной старой девы, которая отталкивает меня в мой час беды и помещает в работный дом. Очень скоро я была в совершенной готовности, и, пока ползли минуты и наполнялся зал (крики и возгласы оттуда доносились к нам в уборную), меня обуяла такая лихорадка нетерпения, что я едва не лишилась чувств. Все мысли о неблагодарности Джона Кри покинули меня, и я ощущала только, что в одиночестве приближаюсь к своему мгновению славы. Было почти уже время. Появилась Герти Латимер с «подкрепляющим средством» и, то и дело прерываясь ради огромного глотка портера, принялась описывать битком набитый зрительный зал. Но я едва ее слышала. Вот-вот должны были поднять занавес, и я велела Эвлин, выходя на сцену, держаться позади меня.

— Помни, — шепнула я, — три шага от меня, не ближе, и не вздумай обращаться к залу. Это я буду делать.

Занавес подняли, и оркестрик Герти вывел заунывную мелодию. Я сделала несколько шагов вперед, приставила ладонь ко лбу и печально оглядела зал. Кэтрин Горлинс приехала в столицу.

— Лондон такой большой, такой чужой, такой неуютный. Ах, милая Сара, не знаю, как я смогу его вынести.

— Чарли, чего это там, глянь? — крикнул с галерки какой-то тип, небось из торговцев рыбой; я стала ждать, пока уляжется гомон.

— Сам не пойму. Вроде живое, шевелится.

Другой голос, с самого верха:

— Да это Золушкины сестрички-уродины!

Зал громыхнул хохотом — я всем им головы была готова поотрывать; но я продолжала, стараясь говорить как можно громче:

— Найдется ли когда-нибудь здесь постель, которую я смогу назвать своей, милая сестра?

— Вались на мою — не прогадаешь! — завопил еще один, тоже с галерки, и за гадкой шуткой последовали другие, не лучше. Мне уже было ясно, что я совершила ошибку, зазвав публику с улиц такого мерзкого района, как Лаймхаус; мне казалось, что лондонские низы, из которых я сама вышла, способны воспринять трагедию — но я просчиталась. С первых минут я поняла, что они ожидали от «Перекрестка беды» увеселительного зрелища; весь мой благородный пафос пропал впустую, на каждую мою фразу они отвечали хохотом, криками и хлопками. Никогда в жизни я не испытывала большего унижения, и в довершение всего трое наших актеров-мужчин стали подделываться под вкус галерки: уловив настроение зала, они ударились в обычное шутовство и отсебятину. С грустью должна сказать, что даже Эвлин не удержалась от низкопробного кривлянья.

Отыграв заключительный акт, я ни о чем не могла помыслить. Я кинулась прочь со сцены и, рыдая, рухнула в кресло у гром-машины. Герти Латимер принесла мне стакан «укрепляющего», и я, стыдно признаться, опрокинула его залпом.

— А, все едино, — сказала она, пытаясь меня утешить. — Трагедия, комедия — все едино. Не принимай близко к сердцу.

— Такие вещи мне не надо объяснять, — отозвалась я. — Я все-таки профессиональная актриса.

Но ужас и омерзение, которые вызвал во мне сброд, заполнивший партер и галерку, не поддаются никакому описанию. Они ожесточили мое сердце навсегда — теперь я могу это сказать точно — и, сопровождаемые раскатами охального хохота, подвели черту под моей сценической карьерой. Но в этом пыточном зале произошло со мной и нечто другое, произошло как раз в миг драматической кульминации, когда я, жалобно стеная, лежала поблизости от Лонг-эйкра. Протянув руки к незнакомой прохожей, которую играла Эвлин в белом платье, найденном нами в театральном гардеробе, я воскликнула:

— Под этими лохмотьями — такая же женщина, как вы! Если вам не жаль меня, сжальтесь хоть над собой!

Публика нашла все это чрезвычайно уморительным, но посреди пьяного смеха и выкриков я вдруг поняла, что изменилась. Словно я была теперь в театре одна, подобно твердому, замкнутому в себе драгоценному камню, который светит даже среди нечистот. Однако постепенно это чувство стало блекнуть, и в адском шуме я вновь ощутила себя такой потерянной, такой несчастной, что яростно стукнула кулаком по доскам сцены, желая пробудить в себе хотя бы боль, идущую из меня, не извне. В свете газовых рожков я увидела лица падших женщин, лица зевающие и ухмыляющиеся, и мне вдруг пригрезилась в них моя собственная неприкаянность и тоска. Я отдала им себя во власть — вот что со мной случилось, — и отдала безвозвратно. Что-то покинуло меня, отхлынуло от меня навсегда — гордость ли то была или тщеславие, не могу сказать.

Я не могла больше плакать. Эвлин и мужчины, уйдя со сцены, имели весьма озабоченный вид, но до них мне не было дела. Я не вышла на вызовы, хотя публика шумно требовала. Как я могла? Пока Эвлин с компанией кланялись и кривлялись, как балаганные уродцы, я быстро переоделась и вышла через боковую дверь. Мне было безразлично, что теперь со мной случится, и я совершенно хладнокровно бродила по самым мерзким закоулкам Лаймхауса, не имея никакой цели, не держась никакого направления.



## Глава 41

Джордж Гиссинг набрел на интересное высказывание Чарльза Бэббиджа, когда уже кончал работу над эссе об аналитической машине для «Пэлл-Мэлл ревью». Оно встретилось ему в одном из бэббиджевских предисловий, или «предуведомлений»: «Воздух — это одна огромная библиотека, на чьих страницах навеки записано все, что когда-либо произнес мужчина и что когда-либо прошептала женщина». Он повторял про себя эти слова, идя по сырым, окутанным туманом лондонским улицам; был поздний вечер, и он только что опустил готовое эссе в почтовый ящик редактора Джона Морли на Спринггарденс. Он не хотел возвращаться домой через Хейм-маркет, боясь встретить промышленную жену, и двинулся вместо этого в восточном направлении, к Стрэнду и Кэтрин-стрит. Но по ошибке зашел слишком далеко и оказался в лабиринте улочек где-то недалеко от Клэр-маркета; эту часть Лондона Гиссинг совсем не знал, хотя до его дома была отсюда какая-нибудь миля, и очень скоро он понял, что совершенно запутал среди узких проулков и тупиков. Несколько бездомных собак выискивали себе пищу в куче гнилых отходов; на глаза ему попала какая-то хибарка, и, заглянув внутрь, он увидел, что это лавка старьевщика, тускло освещенная свечой. Посреди помещения на деревянном сундуке сидел старик, такой же ветхий и дряхлый, как понатыканное всюду тряпье; он курил глиняную трубку и за все время, пока Гиссинг стоял в дверях, так и не вынул ее изо рта.

— Скажите, пожалуйста, как пройти на Стрэнд.

Старик молчал, и вдруг Гиссинг почувствовал на своей икре чью-то ладонь. В испуге отпрянув, он увидел двух девочек, сидящих на земляном полу у самых его ног. На них ничего не было, кроме грязного белья, и вид у них был истощенный.

— Помогите нам, сэр, будьте добреньки, — сказала одна. — Нам много, а поесть нечего, только кусок от вчерашней буханки.

Старьевщик ничего не говорил, только смотрел и курил свою трубку. Порывшись в кармане, Гиссинг вынул несколько монет и вложил в протянутую руку девочки.

— Тебе и сестричке, — сказал он.

Хотел потрепать ее по щеке, но она сделала быстрое движение, словно собиралась его укусить, и он поспешно вышел из лавки. Свернув за угол, увидел двоих мужчин в вельветовых пиджаках и грязных шейных платках, которые колотили деревянными палками по трубе дымохода; он не мог понять, что они делают, но казалось, что они занимаются этим уже целую вечность. Заслышав его шаги, они перестали стучать и молча провожали его взглядом, пока он не свернул в другой переулок. Надо было наконец выбираться; он наудачу двинулся по улице, которая была вроде бы пошире, и вдруг услышал свист. Из-под темного навеса перед дверью устричной лавки выступил молодой человек в жилетке с рукавами и полотняной кепке.

— Что вы хотите?

— Я ничего не хочу. Иду по своим делам.

— По делам? Что ж за дела такие у человека в наших краях? — В его голосе слышалась угроза и, помимо нее, что-то более глубокое, хитрое. — Петушка небось ищете.

— Петушка?

— На вид так вы из тех, кто не прочь взять петушка. — Он погладил Гиссинга пониже живота. — Шиллинга с меня бы хватило. Смекаете, нет, о чем я толкую?

Гиссинг оттолкнул его и прибавил шагу; услышав, что его преследуют, пустился бежать и выскочил на другую улицу. Но что это там, впереди? Какая-то громада, светящаяся огнями, пышущая жаром; на миг ему почудилось, что это аналитическая машина, обретшая посреди нищеты чудовищную жизнь, подобно объятому пламенем призраку из средневековья, но потом он понял, что перед ним фабрика. Шаги за спиной не утихали; оставаться на месте было небезопасно, и, не видя другого убежища, он двинулся прямо к зданию. Около фабрики стоял сильнейший, почти невыносимый запах свинца, или кислоты, или того и другого вместе; Гиссинг подошел к открытой двери, которая, по-видимому, служила входом для работающих здесь, и увидел вереницу женщин в темной одежде, поднимающихся по лестнице на галерею. У каждой на плече был большой горшок, курящийся дымом, который, вздымаясь, собирался у деревянной крыши; дым, казалось, просачивался сквозь темные платья работниц и обволакивал их, уходящих навверх. Другие женщины стояли цепочкой на первом этаже фабрики и передавали горшки из рук в руки, пока

последняя не ставила их в большую пылающую печь. Чем они здесь заняты, он не понимал; и вдруг сквозь шум и накатывающий волнами дым до него донеслось их пение. Казалось, они вечно будут ходить так по лестнице вверх-вниз и тянуть в унисон свой медленный напев. Теперь он даже разобрал слова — это была старая песня из мюзикхоллов: «Как жаль, что в Лондоне у нас нет моря».

Он постоял еще несколько минут, пока не решил, что теперь можно выйти; он свернул в еще один переулок и наконец, к своему облегчению, оказался на улице, которая вела к Стрэнду. Воистину он услышал сегодня то, что «произнес мужчина» и что «прошептала женщина», и если действительно воздух — одна огромная библиотека, один громадный сосуд, хранящий все звуки и шумы города, то ничто не может быть утрачено. Всякий голос, смех, угроза, песня, стук каблука по мостовой вечно будут звучать и отдаваться эхом в пространстве. Ему вспомнилась заметка в «Джентльмене мэгэзин» о древнем поверье, согласно которому все потерянное скапливается на той стороне луны. И может быть, действительно есть такое место, где когда-нибудь будет найден весь безбрежный, весь неостановимый Лондон? А может быть, он уже его нашел? Может быть, Лондон заключен в нем самом и в каждом из людей, которых он повстречал в этот вечер? Он вернулся к себе на Хэнуэй-стрит и, увидев Нелл спящей на их узкой кровати, нежно поцеловал ее в лоб.

## Глава 42

Я вернулась в Бэйсуотер уже перед рассветом; мужа будить я не хотела, но Эвлин подняла, легонько постучав в дверь ее комнаты на мансарде. Она выглядела очень встревоженной.

— Где ты была? Что с тобой случилось?

— О чем это ты? Ровно ничего не случилось. Теперь будь хорошей девочкой, растопи для хозяйки камин.

— Но ты такая бледная, такая...

— Интересная? Это все утренний воздух, Эвлин. Прелесть, просто прелесть.

Я оставила ее и спустилась вниз, к спальне мужа. Там несколько секунд тихо постояла, раздумывая, не разбудить ли его невинным поцелуем, но ограничилась тем, что шепнула в закрытую дверь:

— Ничего не случилось. Ничего совершенно.

Весь следующий день, увы, он был угрюм и зол, но, видя, как я кротка и приветлива, постепенно стал смягчаться. Я ничего не говорила о событиях прошлого вечера и всем своим поведением старалась создать впечатление, что эпизод забыт, вычеркнут из памяти. Он не должен иметь никаких последствий. Несколькими суровыми взглядами я недвусмысленно дала Эвлин понять, что ей не следует поднимать эту тему, и она меня не слушалась; «Перекресток беды» ни разу не был при мне упомянут, и через несколько недель жизнь в Бэйсуотере вошла в обычную мирную колею.

Я упрятала мой гнев так глубоко, что временами сама не могла его обнаружить. И все-таки он жил где-то внутри меня; чтобы убедиться в этом, мне достаточно было взглянуть мужу в лицо, где читались уныние и обида. Чем же я провинилась? Зачем взваливать на меня всю ответственность? С какой стати я должна мучиться? Что я такого сделала — всего-навсего попробовала помочь ему с пьесой, которая была столь неудачна, что пришлось играть ее за мой счет и все равно лаймхаусский сброд ее освистал. Даже Эвлин бросала на меня порой странные взгляды, словно я была каким-то образом виновата в том, что атмосфера нашего дома изменилась. Нет, не моя это ноша, не мне это расхлебывать. Есть тут кое-кто и послабей, и поглупей меня. Неужели

кто-нибудь из них мог подумать, что я позволю превратить себя в козла отпущения?

— Принесите-ка мистеру Кри горячее питье, — сказала я Эвлин однажды вечером. Мой муж теперь завел привычку рано уходить к себе в спальню и там читать; я на это не жаловалась, потому что мне было вполне достаточно моего собственного общества. — Я думаю, милая моя Эвлин, что вам следует каждый вечер готовить ему чашечку. Это улучшит его сон, как по-вашему?

— Как вам будет угодно.

— Я вам уже сказала, как мне угодно. Горячее какао иной раз творит чудеса. Каждый вечер, не забывайте.

Подозреваю, что она с самого начала раскусила мой план и не стала противиться. Насколько я знаю, она всегда издали восхищалась мистером Кри и была к тому же чувственным созданием. Что касается самого мистера Кри, то он, как я уже отмечала, отличался бешеной похотью. Несколько недель какао должно было хватить за глаза.

## Глава 43

Вытирая пыль с восковых фруктов, Эвлин Мортимер вдруг услышала, что в гостиную входит Джон Кри. И тут же, как она привыкла делать на сцене, начала мурлыкать мотивчик, означающий, что работа ей в радость.

— Что это за песня, Эвлин?

— Это даже не песня, сэр, — так, ничего. У нас это называется: легкий напев.

— Но на сердце у вас, мне кажется, вовсе не легко.

— Я всегда должна радоваться, сэр. Так желает миссис Кри.

— Вы не обязаны подчиняться моей жене во всем, правда ведь?

— Вот вы ей это и скажите.

После этой реплики, прозвучавшей достаточно резко, она стала напевать с еще большим наигранным весельем. Прикинулась, что поправляет в вазочке две восковые груши, и, оглянувшись украдкой, увидела, что мистер Кри смотрит в окно.

— Жена мне говорила, что вы из бедной семьи. Это так, Эвлин?

— Я была в работном доме, сэр, миссис Кри, наверно, это имела в виду. Я ей говорила уже, что стыдиться мне нечего.

— Вы правильно говорили. Этого стыдиться не нужно, ведь такова доля многих.

— Может, еще и вернусь туда.

— Ну зачем вы так? Не говорите этого никогда.

— А вот жена ваша часто это говорит. — Эвлин помолчала, чтобы усилить эффект. — Как начнет иной раз, только держись. «Убирайтесь, говорит, в свой работный дом, там ваше место». — Она вновь выдержала паузу. — А вы удивляетесь, почему у меня нелегко на сердце.

Джон Кри отошел от окна и ласково положил ей руку на плечо, она по-прежнему стояла, склонившись над восковыми фруктами.

— Миссис Кри не всегда владеет собой, Эвлин. Она не желает вам такого зла.

— Она недобрая, сэр, очень недобрая. Что на сцене была, что теперь дома.

— Я знаю. — Он убрал руку с ее плеча. Он не собирался делать таких признаний даже внутри себя, но ему нравилось теперь разделять ее обиду и гнев. — И мне хочется оградить вас от нее. Я могу быть вашим защитником, Эвлин, а не только работодателем.

— Вы правда так думаете? — Она готова была повернуться и взглянуть на него с обожанием, но тут в комнату вошла Элизабет Кри. — Хорошо, сэр, сегодня, если желаете, на ужин будет курица.

— Мистер Кри заказал вам курицу? Ну что ж, Эвлин, я полагаю, вы сумеете приготовить ее как надо. — Она не могла ничего заметить, однако холодность в ее обращении с мужем и служанкой была очевидна. — Но ты удивляешь меня, Джон. Ведь тебе известно, что ты плохо перевариваешь белое мясо. Полночи будешь ворочаться в постели.

— Это была моя прихоть, Элизабет. Если ты предпочитаешь что-то другое...

— Нет. Ни в коем случае. Сомневаюсь, что мои предпочтения имеют какой-либо вес в этом доме. Обратите внимание на начинку, Эвлин. Ничего жирного, ничего соленого. Я слышала, что соль будоражит кровь. Или вы не согласны?

Она вышла из комнаты столь же неожиданно, как и вошла; Джон Кри и Эвлин Мортимер обменялись неуверенными взглядами. Дрожая, он опустился на стул и поднес руку к лицу.

— Вы знаете, Эвлин, чего я хочу больше всего на свете?

— Куриного мяса?

— Нет. Я хочу, чтобы мы с вами смогли...

— Продолжайте, сэр. Прошу вас.

— Смогли помочь друг другу. Иначе наша жизнь здесь станет...

— Невыносимой?

— Да. Именно это слово. Невыносимой. — Он поглядел на дверь, которую его жена с силой захлопнула несколько секунд назад. — Могу я вас кое о чем попросить, Эвлин?

— Да, сэр, конечно.

— Покажите мне работные дома.

— Что? — Она ожидала совсем другого и с трудом смогла скрыть разочарование. — Я вас не совсем понимаю.

— Моя пьеса не удалась. Я это сознаю. Жена не оставила у меня в этом никаких сомнений. Но в последние недели или месяцы я нашел

свою большую тему, Эвлин. Я хочу исследовать жизнь бедных людей. — Он заговорил с большим жаром, она испуганно на него смотрела. — Лавры достаются победителю. Этому учит нас нынешний век. Но знайте, Эвлин, что теперь я предпочитаю лежать в прахе среди побежденных!

— Уж не хотите ли вы сказать, что сами готовы перебраться в работный дом? Это было бы слишком, миссис Кри все же не такая злодейка.

— Я хочу их видеть. Я хочу говорить с тамошними людьми.

Она расценила эту просьбу как свидетельство его душевного нездоровья, но решила, что для ее целей это совместное времяпрепровождение будет даже полезно. Поэтому она согласилась ходить с ним тайком от Элизабет Кри; она хорошо знала все эти места и со многими там была знакома. Они посетили несколько заведений от Кларкенеуэлла до Боро, и Джон Кри был в упоении. Никогда раньше он не видел такого несчастья и готов был, собрав воедино все эти лохмотья нищеты и порока, воздеть их к самим небесам. Он готов был взять эту массу пропащих жизней и поднять над своей головой как некую дароносицу горя, перед которой все должны пасть на колени. И он понял кроме того, что в Эвлин Мортимер он нашел бедную девушку, которая может стать его спасительницей.



## Глава 44

Мне были вняты все признаки — внезапные молчания, шепотки, рдеющие щеки и, главное, то, что за завтраком он никогда не поднимал на нее глаз. Я выждала месяц и наконец — это было в начале декабря — решительно вошла в его комнату без стука; они лежали вместе, как я и предполагала.

— Стыд и срам! — воскликнула я. Совершенно потеряв голову, он выскочил из постели, она же спокойно посмотрела на меня и улыбнулась. — Вот чему суждено было случиться! — В волнении я невольно повторила фразу из «Трагедии Нортхолта». — Вот они, горькие плоды моего замужества!

Я выбежала из комнаты и, захлопнув за собой дверь, зарыдала как могла громко. Теперь он был в моей власти, опутанный узами прочней любого каната. Теперь не мне, а ему нести бремя вины. Теперь он будет вымаливать у меня прощение и наконец-то я стану хозяйкой в собственном доме.

Я не ошиблась. Он униженно просил меня забыть то, что я видела, и избежать, как он выразился, «семейной трагедии». Он обладал всего лишь второразрядным воображением. Я великодушно, хоть и неохотно, согласилась, и с той поры у меня не было с ним никаких хлопот. Он не дотронулся до Эвлин больше ни разу и, думаю, утешался с проститутками, но до этого мне не было дела. Он был, как мог бы сказать Дэн, прихлопнут и раздавлен.

Их с Эвлин унылые ласки имели, впрочем, одно последствие, которое еще выше подняло меня в домашней иерархии. Спустя примерно три месяца стало ясно, что она понесла.

— Эвлин, милая, — спросила я очень ласково, когда мы вместе стояли в кладовой, — верно ли, или мне только кажется, что у вас в животике что-то шевелится?

Она не могла этого отрицать и метнула в меня характерный свой вызывающий взгляд.

— И кто, по-вашему, мне этим удружил?

— Не собираюсь гадать. Это мог быть кто угодно. — Я знала, что с языка у нее готово сорваться злое ругательство, и, схватив ее за запястья, крепко их сжала. — За ваш проступок, Эвлин Мортимер, я

могла бы выставить вас за дверь навсегда. Вы оказались бы на улице без всякой помощи и надежды на снисхождение. Что бы тогда с вами случилось? Беременная женщина никому не нужна. Пришлось бы опять идти в рабочий дом — там вам и место.

— Чего вы от меня хотите?

— Того, что вы обязаны сделать, милая. Вы не можете родить ребенка от моего мужа. Это невыносимо. Невообразимо. Плод нужно немедленно уничтожить.

В этот миг я услышала, что в дом входит мистер Кри, и меня осенило. Я бросилась в вестибюль и, поставив мужа и Эвлин лицом к лицу, объяснила ему в точности, что он натворил. Он пришел в такое отчаяние и смятение, что, привалясь к стене и закрыв лицо руками, горько заплакал.

— Сейчас не время для слез и причитаний, мистер Кри, — сказала я. — Нужно действовать.

— Действовать?

— Этот ребенок не может родиться. Он зачат в постыдном совокуплении и всю жизнь будет носить в себе проклятие. — Кажется, моя мать однажды сказала что-то подобное о моем несчастливом появлении на свет, и теперь слова эти совершенно естественно легли мне на язык. — Нужно истребить эту мерзость. — Судя по тому, что Эвлин никак не воспротивилась, ей было не впервой участвовать в такой затее. Мой муж хотел было возразить, но я остановила его движением руки. — Не тебе командовать нами теперь, мистер Кри. Тебе нести бремя греха и вины.

— Что я должен делать?

— Женские дела пусть тебя не заботят. У меня есть твое согласие, и этого достаточно.

Так оба они оказались у меня в руках: при первом же признаке неповиновения я могла пригрозить им разглашением горькой тайны нерожденного ребенка.

Кто поверил бы, что я принимала в этом участие, когда они с Эвлин могли с легкостью устроить все без меня? Разве я похожа на детоубийцу? Я — невинная обманутая жена. В течение нескольких последующих дней я давала Эвлин состав моего собственного приготовления; вызывая судороги и спазмы, он, я знала, должен вскоре изгнать плод из ее чрева. Она ходила бледная как полотно и через

неделю выкинула. Я положила зародыш в жестяную коробку и той же зимней ночью, приехав в Лаймхаус, бросила там в реку. Прилив немало всякого в подобном роде выносит на берег, и никто не должен был обратить особенного внимания на отвергнутое тельце.

Итак, дело было сделано. Наконец-то я главенствовала в доме и могла не бояться никакого вмешательства. По счастливому стечению обстоятельств через несколько месяцев умер отец мистера Кри — мы как раз тогда гостили у него в Ланкашире; состояние наше сильно увеличилось, и я решила перебраться в Нью-кросс в особняк современной постройки. С той поры мой супруг стал все дни проводить среди книг в библиотеке Британского музея. Он говорил, что пишет сочинение о жизни беднейших слоев. Тема, конечно, пренеприятная, но я была уверена, что он никогда не сможет завершить свой труд.

## Глава 45

Инспектор Килдэр делил дом на Кенсал-райс с другим холостяком. Джордж Флад, инженер-строитель, работал в компании «Лондонская подземная железная дорога» и, обладая острым, пытливым умом, не раз в прошлом оказывал детективу неоценимую помощь. Вернувшись домой после разговора с Дэном Лино, Килдэр легонько чмокнул друга в щеку.

— Ну, Джордж, доложу я тебе, — сказал он. — Заковыристое дело.

— По-прежнему этот Голем?

— Он, кто же еще. Ничего не просматривается. Никакого решения.

Они удобно, лицом друг к другу расположились в креслах по разные стороны камина, где горел каменный уголь. В углу громко тикали высокие стоячие часы.

— Налить тебе джину с содовой, Эрик?

— Нет, спасибо. Я лучше трубку выкурю, если ты не против. Помогает размышлять. — Он вынул ее, зажег и задумчиво посмотрел на друга. — Ты понимаешь, Джордж, что меня трудно назвать приверженцем старого образа мыслей.

— Разумеется, чего ради тебе им быть?

— Но вот с этим големским делом меня сомнения одолевают. Как ты думаешь, может он существовать на самом деле?

Джордж перевел взгляд на огонь; пробило середину часа.

— В нашей работе, Эрик, мы имеем дело с железом, заклепками и свинцовыми болванками. Одним словом, с вещами материальными.

— Я знаю, Джордж.

— Но бывает так, что какой-нибудь рельс или другая металлическая деталь просто-напросто *не хочет* оставаться как ее положили. Искривляется, гнется, торчит не под тем углом. Ты слушаешь меня?

— Конечно.

— Знаешь, что мы в таких случаях говорим?

— Очень хотел бы знать, Джордж.

— Мы говорим, что материал живет собственной жизнью. Что в нем имеется чужеродная примесь. Позволь, я все-таки дам тебе джину с содовой. У тебя очень усталый вид. — Он подошел к буфету и, вернувшись со стаканом, дал его инспектору Килдэру, ласково поцеловав перед тем друга в макушку. Потом опять уселся в свое кресло. — Видишь ли, мы то и дело узнаем о материалах что-то новое. Но приходило ли тебе в голову, что при этом мы, может быть, открываем новые формы жизни?

— Как, например, электричество?

— Как всегда, в самую точку, Эрик. Эфир. Электромагнетизм. И тому подобное.

— Но это не то же самое, что Голем, Джордж.

— Думаешь? А я в этом не уверен. За последние годы столько появилось чудесных изобретений. Мы увидели столько перемен. Тебе не кажется, что Голем может быть одной из них?

Инспектор Килдэр встал с кресла и подошел к собеседнику.

— Стоит тебе задуматься о проблеме, Джордж, как ты начинаешь говорить очень любопытные вещи.

Он протянул руку и погладил друга по округлым бакенбардам.

— Я только хотел сказать, Эрик, что ты должен искать материальную причину.

## Глава 46

*30 сентября 1880 года.*

Желудочное недомогание уложило меня в постель, но милая моя жена ухаживает за мной, как всегда, заботливо. Я собирался продолжить свои дела в Лаймхаусе, но бывают случаи, когда искусство вынуждено отступить перед жизнью.

*2 октября 1880 года.*

Жена застала меня за чтением репортажа в «Графике» о похоронах. Семья Джеррардов была предана земле на маленьком кладбище рядом с Уэллклоус-сквер. Я порадовался за них тому, что они обрели покой совсем близко от дома, где жили. Жаль, конечно, что нездоровье помешало мне присутствовать на церемонии. Я искренне скорблю об их кончине: ведь, покидая наш мир, они не имели возможности воздать должное моему искусству — просверк ножа, пульсация артерии, торопливый шепот признания остались, говоря словами лорда Теннисона, «безымянны и безвестны». Вот почему мне теперь опротивело это прозвание, Голем из Лаймхауса, — разве так должны величать художника?

*4 октября 1880 года.*

Сегодня утром ко мне в комнату вошла миссис Кри, держа в руках одну деталь одежды, и должен признаться, что в этот миг я потерял самообладание. Это был испачканный кровью шарф, который я не стал уничтожать после убийства Джеррардов; фонтан, бивший из сонной артерии, окрасил его в чрезвычайно насыщенный красный цвет, и я решил сохранить эту ткань на память. Я спрятал шарф в гипсовую голову Уильяма Шекспира, стоящую на постаменте в нашем вестибюле, и был уверен, что никто его не обнаружит.

— Что это такое? — спросила она меня.

— Кровь шла из носа. Больше нечем было утереться.

Она странно на меня посмотрела.

— Но зачем нужно было прятать это в бюст?

— Не в бюст, а в голову. Я вошел, когда ты играла на пианино, и мне не хотелось тебя тревожить. Вот и сунул туда. Но как ты нашла

этот шарф?

— Эвлин разбила голову. Вытирала пыль и разбила.

— Выходит, Шекспир повержен?

— Да, к сожалению.

Больше на эту тему ничего не было сказано. Жена положила шарф на мой письменный стол, я сделал вид, что опять углубился в газету.

*5 октября 1880 года.*

Попытаюсь восстановить цепь сегодняшних событий. Почувствовав, что недомогание мое полностью прошло, я спустился к завтраку. Эвлин сказала мне, что миссис Кри еще спит, и я спокойно принялся за вареное яйцо. Я стал просматривать «Кроникл», где на первой странице была интересная заметка о полицейском расследовании, и вдруг мне почудилось, что я слышу шаги в моем кабинете. Он расположен как раз над комнатой для завтрака, и, непроизвольно подняв голову, я услышал еще один звук, то был, несомненно, скрип половицы. Я встал из-за стола и как мог тихо поднялся по лестнице; наверху прошел прямо к своему кабинету и торжествующе распахнул дверь, но внутри никого не было. Я двинулся дальше по коридору и постучал в дверь жены.

— Кто там?

Голос ее прозвучал так, словно я ее разбудил.

— Дорогая, принести тебе чего-нибудь?

— Нет. Ничего не надо.

Я вернулся в кабинет. Я от природы человек аккуратный, и мои книги и бумаги всегда лежат в строгом порядке; поэтому мне хватило беглого обзора, чтобы заметить, что мой черный саквояж теперь стоит несколько левее по отношению к стулу. Разумеется, он был заперт — ведь именно там я держу все орудия моего ремесла, — но мне было ясно, что кто-то любопытствовал относительно его содержимого.

*6 октября 1880 года.*

Теперь мне совершенно ясно, что жена меня подозревает. Нарочито небрежно она спросила меня о том вечере, когда я «был у приятеля, живущего в Сити», а на самом деле давал представление на Рэтклиф-хайвей; я ответил столь же небрежно. Тем не менее она очень пристально и очень странно на меня посмотрела. Я успокаиваю себя,

рассуждая, что у нее просто не хватит воображения, чтобы отождествить ее доброго, терпеливого мужа с убийцей женщин и детей, с самим Големом из Лаймхауса. Ей не под силу будет постичь столь великую тайну.

*7 октября 1880 года.*

Сегодня она спросила меня, где я купил шаль, которую подарил ей несколько недель назад. «Где-то в Холборне», — ответил я довольно непринужденно. Потом мне пришло в голову, что, поскольку шаль была в магазине Джеррарда, на ней где-то могла стоять его фамилия или адрес. Улучив момент, когда жена вышла из дома купить, как она сказала, чего-нибудь «свеженького» на ужин, я поспешил в ее комнату. Шаль висела на спинке маленького позолоченного стульчика в углу; на ней действительно раньше был ярлык. Теперь он был сорван.

*8 октября 1880 года.*

Пусть она меня подозревает — что из того? Можно ли опасаться, что она сообщит в полицию? Нет, она слишком ценит свое положение в жизни, чтобы подвергать его такой опасности. А если бы ее подозрения оказались ложными, как она смогла бы оправдать передо мной свои действия? И, в любом случае, кто бы ей поверил? Респектабельный, состоятельный человек, ученый, джентльмен, домовладелец — как это вяжется с чудовищными убийствами? Голем из Лаймхауса живет, оказывается, в Нью-кросс в роскошном особняке? Ее подняли бы на смех, а мне ли не знать, как она горда, — она не отправится на эту пытку добровольно. Нет. Мне ничто не угрожает.

*9 октября 1880 года.*

Новый поворот событий. Я обратил ее внимание на заметочку в «Саут Лондон обсервер» об арестованном поблизости от нас карманнике, и вдруг она посмотрела на меня диким взором и стала бормотать какие-то слова о воздаянии за зло. Что-то она задумала.



## Глава 47

*Католического капеллана Камберуэллской тюрьмы попросили посетить Элизабет Кри в камере смертников.*

**Отец Лейн.** Нет такого греха, Элизабет, чтобы нельзя было надеяться на прощение. Спаситель умер за наши грехи.

**Элизабет Кри.** Вы говорите прямо как моя мать. Она была очень религиозная.

**Отец Лейн.** Католичка, как вы?

**Элизабет Кри.** Нет, в другом роде. Она ходила молиться в жестяную часовенку на Ламбет-хай-роуд. Дочери Вифезды или что-то подобное.

**Отец Лейн.** Кто же в таком случае показал вам путь в Церковь?

**Элизабет Кри.** Это было желание моего мужа. Перед свадьбой я прошла наставительный курс и была обращена.

**Отец Лейн.** Мама ваша не возражала?

**Элизабет Кри.** О, Господи, о чем вы! Она умерла задолго до того. Но должна вам сказать, что намного раньше, чем мы встретились с мужем, я уже хорошо знала римские обряды. В мюзик-холлах масса католиков — мой старый друг Дэн Лино говорил, что это у нас в крови. Он видел связь между Римом и пантомимой, и я тоже ее потом увидела. Иногда он водил меня на мессу в храм Богородицы Скорбящей на Нью-кат. Вот было зрелище!

**Отец Лейн.** Вы понимали его смысл?

**Элизабет Кри.** Еще бы я не понимала. Все было мне очень хорошо знакомо. Костюмы. Подмостки. Колокола. Облака фимиама. Я видела все это в «Али-Бабе». Но в церкви, конечно, играют более истоиво.

**Отец Лейн.** Элизабет, вы понимаете, что я пришел услышать вашу исповедь и дать вам отпущение грехов?

**Элизабет Кри.** Это чтобы я висела чистенькая?

**Отец Лейн.** Я не могу допустить вас к причастию, пока вы чистосердечно не исповедуетесь.

**Элизабет Кри.** Тогда подскажите мне, святой отец. Боюсь, что впервые в жизни я позабыла слова.

**Отец Лейн.** Благослови меня, Отец мой небесный, ибо я грешна. Прошло...

**Элизабет Кри.**...много лет с тех пор, как я последний раз была на исповеди? Я не эти слова имела в виду, святой отец. Я хотела вспомнить мой монолог в «Али-Бабе», когда я взмахиваю волшебной палочкой и повергаю в прах сорок разбойников.

**Отец Лейн.** Вы, кажется, по-прежнему не в себе.

**Элизабет Кри.** Еще как в себе. Взволнована немного, но это, я считаю, простительно. Меня повесят через два дня.

**Отец Лейн.** Именно поэтому вам непременно нужно исповедаться. Кто переходит в мир иной в состоянии смертного греха, для того нет никакой надежды.

**Элизабет Кри.** И я вечно буду жариться? Меня удивляют, святой отец, ваши детские верования. Неужто ад устроен наподобие кухмистерской? Нет, за земное на земле и воздается.

**Отец Лейн.** Не говорите так, миссис Кри. Умоляю вас, пожалейте вашу бессмертную душу.

**Элизабет Кри.** Боюсь, удушат ее, душу мою, с телом заодно. Но довольно с меня, пожалуй. Вы говорите прямо как моя мамаша. А она, если ад существует, уж точно там, а не где-нибудь.

**Отец Лейн.** Неужели вам не в чем признаться?

**Элизабет Кри.** Хотите услышать об отравлении мужа? А что, если были еще более тяжкие, более мрачные преступления? Может быть, мне ведомы такие кровавые, такие страшные злодеяния, что перед ними меркнет все случившееся с Джоном Кри? Что, если и другие смерти вопиют к небесам? Вот что я вам скажу, отец Лейн. Я не нуждаюсь ни в вашем прощении, ни в отпущении грехов. Я — бич Божий.

## Глава 48

После убийства семьи Джеррардов на Рэтклиф-хайвей прошло уже три недели, а личность Голема из Лаймхауса все еще не была установлена. К Дэну Лино детективы потеряли интерес — он был явно ни при чем, — и полицейское расследование превратилось в цепь случайных и бесплодных шараханий. Арестовали одного матроса, у которого на одежде была замечена кровь; препроводили в участок бродячего торговца птичьими клетками — просто потому, что его видели около места последнего преступления.

Убийства, впрочем, повлекли за собой и более зловещие последствия. После похорон Джеррардов на кладбище близ Уэллклоус-сквер толпа разгромила в Шадуэлле дом еврея-коммерсанта, торговавшего чаем: его мизантропический характер привел наиболее легковверных жителей Ист-Энда к заключению, что он тоже не человек, а голем. Непосредственно в Лаймхаусе несколько проституток жестоко избili одного немца, решив по его виду, что он «замыслил недоброе». Возникли пешие патрули «заинтересованных граждан», поздними вечерами пропускавших по стаканчику во всех попадавшихся на пути питейных заведениях и останавливавших на улице всякого, кто смахивал на еврея или иностранца.

Другие начинания имели более человеколюбивый характер. В палате общин вновь стали поднимать вопрос об условиях жизни бедноты Ист-Энда, и группы добропорядочных женщин принялись обходить сомнительные районы Лаймхауса и Уайтчепела, выявляя случаи, заслуживающие помощи со стороны общества. Чарльз Диккенс и другие «проблемные авторы» и раньше рисовали в своих книгах ужасные картины городской нищеты, но эти произведения несли на себе характерную печать чувствительности и заостренной выразительности, что связано с пристрастием читающей публики к готическим эффектам. Газетные репортажи отнюдь не всегда, разумеется, были более объективны, их авторы часто следовали тем же стереотипам мелодраматического повествования. Как бы то ни было, давление парламентариев и пространные исследования, печатавшиеся в серьезных ежеквартальных изданиях, побуждали к более трезвому анализу городской жизни в конце девятнадцатого века. Не случайно, к

примеру, работы в рамках программы ликвидации трущоб начались в Шадуэлле всего лишь через год после преступлений Голема из Лаймхауса.

Однако сам Голем как сквозь землю провалился. Убийства на Рэтклиф-хайвей оказались последними.

Некоторые газеты вывели отсюда заключение, что злодей покончил с собой, и самые рьяные из лодочников бороздили Темзу неделями; другие предположили, что он просто переключился на другие города и теперь можно ждать беды на промышленном севере и в центральных графствах. Личная версия инспектора Килдэра, которую он однажды перед ужином изложил Джорджу Фладу, заключалась в том, что убийца покинул страну на пароходе и теперь, скорее всего, находится в Америке. Лишь в «Эко» промелькнула гипотеза, что он убит — например, женой или любовницей, обнаружившей улики его преступлений.

Но наиболее причудливые домыслы возникли в умах тех людей, кто действительно уверовал в мифического Голема: они утверждали, что этот рукотворный монстр, этот автомат просто-напросто исчез, пройдя заданный ему путь злодеяний. То обстоятельство, что последние убийства произошли в том же доме, где почти семьдесят лет назад была умерщвлена семья Марров, укрепляло их в мысли, что за всем этим кроется тайный ритуал и что магазин одежды на Рэтклиф-хайвей есть святилище некоего жестокого божества. Голем из Лаймхауса растворился в крови и членах жертв, но, несомненно, вновь явится на том же месте по прошествии предопределенного срока.

Эти вопросы обсуждались на ежемесячном собрании Оккультного общества на Коптик-стрит — буквально в двух шагах от читального зала Британского музея. Секретарь общества, проводивший, надо сказать, большую часть времени в библиотеке за чтением книг, ради удобства других его членов сделал перед собранием выписки из старинных трактатов, содержащих сведения о големе и его таинственных похождениях. Для секретаря, и не для него одного, читальный зал был подлинным духовным центром Лондона, где многое из того, что до сих пор от нас скрыто, должно в конце концов стать доступным. И воистину — хотя как ему было знать? — решение загадки Голема из Лаймхауса находилось под этим огромным куполом, правда, было оно иным, нежели он мог предполагать. Всем, кто вольно

или невольно был причастен к этой истории, доводилось здесь бывать — Карлу Марксу, Джорджу Гиссингу, Дэну Лино и, конечно, Джону Кри.

Нелишне будет отметить, что зал посещала еще одна важная для нашего повествования особа. Весной 1880 года Элизабет Кри подделала два рекомендательных письма и, имея еще в свою пользу то обстоятельство, что ее муж был давним читателем, получила разрешение пользоваться библиотекой. Она заняла место в особом ряду, отведенном для дам, и заказала собрание сочинений Томаса Де Куинси, а также «Историю дьявола» Дэниэла Дефо. Дожидаясь книг, она разглядывала посетителей, отмечая поношенную одежду и неловкие манеры тех, кто, по словам Джорджа Гиссинга, жил «в сумрачной долине книг». Она испытывала к ним жалость и в то же время презирала мужа за то, что он пал так низко. Она не знала, что Дэн Лино встретился здесь с духом Джозефа Гримальди и ощутил себя его наследником; что Карл Маркс, проработав здесь долгие годы, создал в своих книгах исполинскую теорию; что Джордж Гиссинг исследовал здесь тайны аналитической машины Чарльза Бэббиджа; что ее муж мечтал здесь о грядущей славе. Прочитав эссе Де Куинси об убийствах на Рэтклиф-хайвей, Элизабет Кри попросила другие книги, содержание которых оказало существенное воздействие на жизнь персонажей этой повести; она заказала ряд руководств по современной хирургической технике.

## Глава 49

— В этих и всех других прегрешениях моей жизни я чистосердечно раскаиваюсь и смиренно прошу Господней милости и отпущения грехов через ваше посредство.

— Но вы ничего мне не рассказали, Элизабет.

— Видите ли, святой отец, так уж я приучена. Если строчки затвержены, надо их произнести.<sup>[28]</sup> — Это был вечер накануне казни, и тем более странным выглядело поведение Элизабет Кри. Она сняла с плеч отца Лейна пурпурную столу — полосу ткани, концы которой свешивались ему на грудь поверх стихаря и сутаны, — и принялась танцевать с нею в камере смертников. — Видели вы этот чудный спектакль — «Лондонский призрак»? Сногшибательная вещь в добрых старых традициях.

— Нет, не видел.

— И не могли видеть, святой отец, потому что я только сейчас сочиняю эту пьесу. — Она не переставала танцевать вокруг него, держа столу в руке. — Очень интересный сюжет! Там про женщину, которая отравляет мужа. Как вам нравится выбор темы?

— Я не судья вам, Элизабет.

— М-да, в театральные критики вы не годитесь. Но посмотреть-то пьесу вы бы хотели?

— Я хотел бы одного — услышать вашу исповедь и дать вам отпущение.

— Нет. — Она встала перед ним и медленно положила столу себе на плечи. — Я здесь для того, чтобы дать отпущение *вам*. Я не рассказала еще сюжет до конца. Название пьесы указывает на меня. Я и есть лондонский призрак. — Отец Лейн, который по-прежнему стоял на коленях на каменном полу камеры, чувствовал, как по его телу поднимается холод. Она наклонилась и зашептала ему в ухо: — Я отравляю мужа только в третьем действии, когда он хочет открыть всем мою маленькую тайну. Ни один из зрителей ее еще не разгадал, и они ничего такого не ждут. Хотите знать, в чем она состоит? — Несмотря на холод, священника прошиб пот, и она вытерла ему лоб краем столы. — Нет, не могу сказать. Вся пьеса пойдет насмарку. —

Он хотел кликнуть надзирателей, которые ждали за дверью, и уйти подобру-поздорову. Но принудил себя остаться на месте и слушать ее; этому разговору суждено было стать последним в ее жизни. — Тут кой-какие сцены разыгрываются *en travesti*. Понимаете меня? Это когда героиня надевает мужской костюм и дурит всех напропалую. Тогда иные из потаскух пьют, прямо скажем, горькую чашу. Им любопытно, что у меня лежит в черном саквояжике, и я им показываю. С этой ролью мне легко было справляться, святой отец. Когда мать меня родила, она родила меня сильной. Мне только и играть, что в театрах ужасов.

— Я не понимаю вас, миссис Кри.

— Первой была моя милая мамочка. Потом Дорис, которая меня увидела. Потом Дядюшка, который меня осквернил. Да, я еще забыла про Малыша Виктора, который до меня дотронулся. И еврей был — они Христа распяли, так мне много раз говорила мать. А лаймхаусские шлюхи самые грязные из всех. Знаете, как они подняли меня на смех, когда я вышла на сцену, чтобы их спасти?

— *In nomine patris, et filii, et spiritus sancti...* [29].

Она постучала по его голове указательным пальцем; он прервал молитву и в страхе поднял на нее глаза.

— Видите ли, святой отец, мой покойный муж мнил себя драматургом. Но ничего путного создать так и не смог. Вот он и решил украсть у меня мой замысел. Надумал изменить развязку и выставить перед почтенной публикой мои скромные похождения. Тут-то мне и удался самый остроумный ход. Знаете, как Арлекин всегда сваливает вину на Панталоне? Так и я — состряпала дневник, где все приписала ему. Мне ведь приходилось уже кончать за него пьесу, и вся эта словесность далась мне легко. Я сочинила дневник от его имени, и в один прекрасный день он предстанет перед миром злодеем из злодеев. С какой стати мне быть виноватой, когда я знаю, что безгрешна? Ведь верно, святой отец, что Господь дает и Он же забирает назад?

— Да, это так.

— Что ж, значит, я делала за Него вторую половину. Я забирала назад. Согласитесь, чистая была работа. А когда найдут дневник, мне простят даже смерть мужа. Все поверят, что я избавила мир от чудовища.

— В чем вы хотите признаться, миссис Кри?

— Он угрожал мне. Он встал у меня на пути.

— А те, другие, о которых вы сказали? Что это были за люди?

— Он подозревал меня. Подглядывал. Шпионил за мной. — Она сняла с себя столу и окутала ею плечи священника. — Наверняка ведь вы слышали о знаменитом Големе из Лаймхауса?



## Глава 50

Из двора Камберуэллской тюрьмы тело Элизабет Кри перевезли в морг при окружном полицейском участке Лаймхауса, где ее мозг был извлечен для хирургического исследования. Не кто иной, как Чарльз Бэббидж первым высказал мысль, что этот орган, возможно, действует как некая аналитическая машина и что за преступное или антиобщественное поведение некоторых лиц ответственны определенные участки мозга, которые в принципе можно выявить и удалить. Поскольку Элизабет Кри, будучи женщиной, совершила жестокое и коварное отравление, неудивительно, что ее мозжечок сочли достойным внимания; однако никаких отклонений от нормы выявить не удалось. Разумеется, если бы власти знали, что она зверски убивала женщин и детей, исследования были бы проведены с еще большим тщанием. Итак, ее голову отделили от туловища, а последнее вынесли во двор морга в Лаймхаусе и, чтобы ускорить разложение, закидали негашеной известью; таким образом, ее последнее пристанище оказалось всего в каких-нибудь двадцати шагах от того места, где в 1813 году похоронили Уильямса — первого из убийц на Рэтклиф-хайвей. Вот какими словами Томас Де Куинси завершил свой очерк об этом жестоком преступнике: «...во исполнение закона, каким он был в то время, убийцу закопали посреди скрещения четырех дорог (в данном случае четырех улиц), всадив ему в сердце кол». Свой дом — известковый дом<sup>[30]</sup> — теперь обрела и Элизабет Кри.

## Глава 51

Серьезно подготовленная постановка «Перекрестка беды» была наконец представлена публике; упустить возможность, создавшуюся после убийства Джона Кри его, безусловно, помешанной женой, было бы, конечно, просто грешно. У Гертруды Латимер сохранился текст, который Элизабет Кри прислала ей в лаймхаусский театр «Белл»; она с растущим возбуждением читала репортажи о судебном процессе, и когда стало ясно, что Лиззи повесят (и, следовательно, некому будет претендовать на авторство), Гертруда взяла пьесу и попросила своего мужа Артура оживить сюжет, внося в него кое-какие повороты в свете произошедших событий. Героиню-актрису решено было назвать не Кэтрин Горлинс, а Элизабет Кри — и о счастливом финале, конечно, речи быть не могло. Отравив мужа, она должна была умереть на виселице по приговору суда. За неделю до казни настоящей Элизабет Кри администрация театра «Белл» объявила о премьере самоновейшей, злободневнейшей, леденящей душу трагедии под названием «Супруги Кри с Перекрестка беды». Первое представление пьесы, где зрителям была обещана подлинная, невыдуманная история, назначили на вечер после исполнения приговора. Афиши гласили, что текст почти целиком принадлежит самим супругам Кри, и Гертри Латимер решила даже вставить в него слова, которые будто бы написала Лиззи в камере смертников:

«Элизабет Кри. Я знаю, что совершила великий грех, который вопиет к самим небесам об отмщении. Но разве я не страдала больше, чем любая другая женщина? Он безжалостно бил меня, хоть я и молила его о пощаде, а когда я, обессиленная, не могла даже кричать, он смеялся злорадным смехом. Я была его беззащитной, слабой жертвой, и, не видя впереди себя ничего, кроме страданий и ранней могилы, я впала в такое бесконечное отчаяние, в какое могла впасть только бесконечно обиженная женщина».

Там было еще немало в подобном же роде — всё плоды творчества Гертри и Артура Латимеров, утверждавших, что выносят на суд публики историю супругов Кри, как она произошла в действительности. Ощущение подлинности усиливал сам состав исполнителей: роль Элизабет Кри должна была играть Эвлин

Мортимер, обозначенная в афишах как «Женщина, Которая Была Там». Репетиции доставили Эвлин немалое удовольствие; ей было чрезвычайно приятно перевоплотиться в недобрую хозяйку, и она всячески третировала Элеонору Маркс, исполнявшую роль горничной.

Разумеется, весть о предстоящей премьере породила много комментариев и споров в печати; первой выступила «Таймс», заявив, что не следует делать из трагедии дешевую сенсацию. Неудивительно, что публика на премьеру собралась более разнородная и в целом более высокого пошиба, чем обычно собиралась на «кровопускательные» лаймхаусские зрелища. Карл Маркс, несмотря на ухудшающееся здоровье, занял место в партере; его дочь после провала «Веры» Оскара Уайльда решила все-таки, вопреки воле отца, попробовать себя на общедоступной сцене. Как он мог не прийти на ее дебют в роли горничной в доме Элизабет Кри? Ричард Гарнетт, директор читального зала Британского музея, согласился составить ему компанию. На два ряда дальше от сцены сидел Джордж Гиссинг, который в это время писал новое эссе для «Пэлл-Мэлл ревью», озаглавленное «Реалистическая драма и реальная жизнь». Нелл настояла на том, чтобы пойти тоже — она была странно заморожена делом Элизабет Кри, — но теперь на ее лице появилось удивленно-озабоченное выражение, которого Гиссинг раньше не видел. А дело было в том, что она заметила в зале инспектора Килдэра, который приходил в их квартиру на Хэнуэй-стрит в тот день, когда забрали ее мужа; несмотря на свое пристрастие к крепким напиткам, она все время помнила об этом необычайном и страшном происшествии и, сидя в театре, каким-то необъяснимым образом соединила ужас того дня с ужасом, который сейчас должны были показать на сцене. Что до Килдэра, то он не обратил на нее внимания: он пришел в театр с Джорджем Фладом, и выглядели они как два семьянина, оставившие жен дома. Килдэр пришел на спектакль, можно сказать, из профессионального любопытства — дело Элизабет Кри расследовал инспектор Карри, его коллега из третьего полицейского округа. Но помимо этого он, конечно, хотел развеяться после неудачных поисков Голема из Лаймхауса. Почтили премьеру своим присутствием и критики-профессионалы; театральные обозреватели из «Пост» и «Морнинг адвертайзер» пришли в «Белл» впервые в жизни, и в их блокнотах уже начали появляться фразы, выражающие легкий интерес, смешанный с

покровительственным пренебрежением. Но был там один критик, обладавший более острой восприимчивостью к мелодраме, — Оскар Уайльд, который, получив от редактора «Кроникл» заказ на эссе о характере зрительного зала на первых представлениях, решил начать с самой горячей театральной сенсации.

Подлинная сенсация, однако, ждала зал, когда подняли занавес; по рядам пробежал возбужденный гомон. Герти Латимер, желая ошеломить зрителей в первую же минуту, поставила в самое начало спектакля сцену казни Элизабет Кри во дворе Камберуэллской тюрьмы с тем, чтобы после чрезвычайно реалистического повешения, воротившись вспять, развернуть всю диковинную историю ее жизни. Как Герти и предполагала, публика при виде эшафота и петли так и ахнула; тотчас же на сцену вышла мрачная процессия — начальник тюрьмы, шериф и капеллан, которых играли выдавшие виды профессионалы «кровавой школы», а за ними Эвлин Мортимер в роли Элизабет Кри. Руки ее были стянуты за спиной кожаным ремнем (в последний раз до этого Герти использовала его в негритянской драме «Восстание карибских рабов»), и одета она была в грубое арестантское платье; ее лицо выражало неизбывное страдание, но помимо этого, когда она обратила к зрителям скорбное лицо, те смогли прочесть в нем смирение и покорность судьбе. Она двинулась к эшафоту — шелест в зале прекратился; она поднялась на первую ступень — и капеллан испустил сдавленное рыдание. Она поднялась на вторую ступень — и шериф на мгновение отвернул лицо. Она поднялась на третью ступень и замерла в неподвижности. В театре «Белл» воцарилась гробовая тишина.

В этом месте Герти Латимер решила потрясти публику еще одним дерзким ходом. Она уже прочла в вечерних газетах репортажи о повешении и в самый последний момент включила в спектакль подлинные подробности казни. Гордым жестом Эвлин Мортимер отказалась от предложенного колпака и с готовностью продела бледную шею в петлю. После этого она бросила взгляд в зал и произнесла бессмертные слова: «Вот мы и снова тут как тут!» Это был сигнал к очередному новшеству Герти Латимер. Ее всегда восхищали опускающаяся платформа и откидной люк, которые, как она видела, с большим успехом были использованы в «Последнем завещании» в «Друри-Лейн»; за немалые деньги она заполучила такую машину для

«Супругов Кри с Перекрестка беды» и теперь напряженно ждала момента, когда тело осужденной, провалившись в люк, быстро опустится на платформе под сцену, создав у зрителей полное впечатление, что женщина действительно «повешена за шею, пока она не будет мертва».<sup>[31]</sup>

Все это время Дэн Лино смотрел на сцену из-за кулис. По просьбе Герти Латимер он согласился после завершения «Кри с Перекрестка беды» выступить с шуточным дивертисментом; он должен был изобразить мадам Грюйер, знаменитую французскую отравительницу, и спеть куплеты, превозносящие достоинства галльского яда. Он уже переоделся для выхода (порой он едва мог дождаться минуты, когда можно будет скинуть повседневную одежду) и принялся покачивать бедрами и принимать жеманные позы на самый что ни на есть французский манер; спроси его — он отговорился бы тем, что входит в роль, но если бы кто стал тайком следить за «самым смешным человеком на свете», от наблюдателя не укрылось бы, что артист шепчет про себя слова, явно адресованные другому лицу:

— Старая глупая ведьма! Как ты смеешь делать из нашей Лиззи посмешище? Старая поганая ведьма!

Эвлин Мортимер безропотно позволила палачу накинуть ей на шею петлю, и в этот момент Карл Маркс, повернувшись к Ричарду Гарнетту, разразился негодующим шепотом. Позор тем, кто ставит такие спектакли, делая из материала, исполненного общественного значения, дешевую мелодраму! Воистину театр есть опиум для народа! И все же готовая повиснуть в петле Элизабет Кри притягивала его взор. Ему вдруг вспомнилась фраза, которую он много лет назад написал другу: «Когда все будет кончено, мы возьмемся за руки и начнем сызнава». Зрелище не оставило равнодушными и критиков из «Пост» и «Морнинг адвертайзер», но, чувствуя, как мороз подирает по коже, они в то же время знали, что в рецензиях назовут эту сцену чересчур «пантомимической» и чуждой реализму. Джордж Гиссинг мельком посмотрел на журналиста из «Пост», с которым был шапочно знаком; позже в эссе «Реалистическая драма и реальная жизнь» он написал: «Неверно, что человек не в состоянии вынести слишком много реальности — он не в состоянии вынести слишком много искусственности». Но, вновь переведя взгляд на бледную шею Эвлин Мортимер, он вспомнил ощущение чуда и ужаса, охватившее его при

виде трупа Элис Стэнтон в морге Лаймхаусского полицейского участка. «Судьба, — сказал он жене на другой день после возвращения оттуда, — всегда непосильна для нас». Инспектор Килдэр с легким неудовольствием отметил ряд неточностей в изображении казни, однако даже ему передался священный трепет, охвативший весь зал. Об этой сцене думал впоследствии Оскар Уайльд, когда писал в «Истине масок»: «Истина никогда не зависит от фактов, она изобретает или подбирает их, как ей заблагорассудится. Подлинный драматург преподносит нам не искусство, притворяющееся жизнью, а жизнь, преобразованную искусством».

Но что это? В тот самый момент, как приговоренная провалилась в разверзшийся люк, Дэн Лино, который инстинктивно чувствовал любой сбой в технике сцены, понял, что случилось непоправимое. Ему мигом стало ясно, что веревка не была отпущена, что падающую платформу не поставили на тормоз, и поэтому Эвлин Мортимер неизбежно должна была повиснуть под сценой со сломанной шеей. Иные из публики судорожно вздохнули, другие вскрикнули — не потому, что до их сознания дошло, какая стряслась беда, а потому, что весь эпизод получился чрезвычайно впечатляющим и реалистичным. Дэн Лино кинулся под сцену, где суфлер и мальчик, объявляющий выходы, уже хлопотали над Эвлин Мортимер, освобождая ее из петли и пытаясь привести ее в чувство. Герти Латимер, неисправимая оптимистка, явилась с бутылкой коньяку; отодвинув ее плечом, Дэн Лино склонился над мертвым телом. Эвлин уже ничем нельзя было помочь, и напрасно актер, который играл капеллана, спустился к ней по свисающей с эшафота веревке; он был изрядно пьян и начал отпускать мертвой артистке грехи, пока все прочие стояли вокруг в позе молитвенного смирения.

Лино дал им так постоять минутку, а потом подошел к Герти и очень крепко стиснул ее руку.

— Переоденьте священника в уличного фата, — сказал он, — и помогите мне подняться на сцену.

Она была настолько ошеломлена, что могла лишь повиноваться, и в одно мгновение Дэн Лино, одетый в костюм мадам Грюйер, был вознесен через открытый люк в сияние газа. Он встал на подмости, не отпуская роковую веревку, и, отдавая шутливую дань «Собору Парижской Богоматери», этой великой мелодраме, потянул за нее

трижды. Зрители мигом раскусили намек и облегченно засмеялись: страшная сцена была позади, повешенная ожила, и теперь начнется потеха. Элизабет Кри возникла перед ними в новом обличье, как бывало прежде, когда она изображала Старшего Братца и Дочку Малыша Виктора, и теперь, к их веселью и радости, в нее воплотился сам знаменитый Дэн Лино.

Когда представление кончилось, люди вереницей потянулись из театра во тьму — молодые и старые, богатые и бедные, знаменитые и безвестные, щедрые и скаредные, — погружаясь в холодный туман и дымную мглу неугомонных улиц. Расходясь из Лаймхауса кто куда — в Ламбет и Брикстон, в Бэйсуотер и Уайтчепел, в Хокстон и Кларккенуэлл, — они вновь приобщались к шуму вечного города. И многие, возвращаясь домой, вспоминали тот чудесный миг, когда Дэн Лино предстал перед ними, возникнув из разверстого люка. «Леди и джентльмены, — объявил он в своей неповторимой величественно-клоунской манере, — вот мы и снова *тут как тут!*»

---

**notes**

# Примечания



# 1

Так называли людей, выскивающих утиль в сточных канавах и прибрежной грязи. (Здесь и далее — прим. перев.)

**2**

Акройд сместил год рождения Лино на десять лет. В действительности он родился в 1860 г., умер в 1904 г.

# 3

Тайберн — место в Лондоне, где в старину казнили преступников.

# 4

Зеленая комната (green room) — артистическое фойе.

## 5

Томас Мидлтон (1570?-1627) и Сирил Тернер (1575?—1626) — английские драматурги.

## 6

В английском театре пантомимой называется комический спектакль с пением и танцами, обычно на сюжет одной из популярных сказок.

Из стихотворения «Андрея дель Сарто». Перевод М. Донского.

## 8

На этом месте в 1680 г. два брата бились на дуэли из-за девушки, и оба погибли. Согласно легенде, там долго потом виднелись отпечатки их ног.



# 9

Шехина — женская ипостась Бога в иудаизме, связанная с идеей его присутствия в мире.

## 10

Адам Кадмон (Адам Первоначальный) — первообраз человека в иудаистической мистике, сочетающий в себе мужское и женское начала.

# 11

Сефирот — божественные силы в Каббале. Иногда изображались в виде семисвечника.

# 12

Эн-соф — бесконечное в мистике Каббалы.

**13**

Карта мира (лат.).

«Философы лишь различным образом объясняли мир» (цитата из «Тезисов о Фейербахе» Маркса).

**15**

Смерть хватает живых (фр.).

Шарль Блонден (1824–1897; наст. имя Жан Франсуа Гравле) — французский канатоходец, живший в США и Англии.



Джон Стюарт Милль (1806–1873) — английский философ, экономист и общественный деятель.

Нелл Гвин (1610-1687) — фаворитка английского короля Карла II.

**19**

Натурализм, правду, науку (фр.).

Уильям Хогарт (1697–1764) — английский художник. Джордж Крукшенк (1792–1878) — английский иллюстратор и карикатурист.

**21**

Гений места (лат.).

Образцы для подражания (фр.).

Джозеф Гримальди (1778–1837) — знаменитый английский клоун.

Наоборот (фр.).



**25**

Страшно сказать! (лат.)

Речь идет о больнице Магдалины для оставивших ремесло проституток..

«Прогулка» — поэма Уильяма Вордсворта. «Стихи, основанные на привязанностях» — его поэтическая книга.

Предыдущая реплика Элизабет — традиционная фраза из католической исповеди.

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа... (лат.)

Слово «лаймхаус» можно буквально интерпретировать как «известковый дом». В этом районе Лондона в старину обжигали известь.

**31**

Стандартная фраза из смертного приговора.

# Table of Contents

[Питер Акройд Процесс Элизабет Кри Роман об убийствах в Лаймхаусе](#)

[Глава 1](#)

[Глава 2](#)

[Глава 3](#)

[Глава 4](#)

[Глава 5](#)

[Глава 6](#)

[Глава 7](#)

[Глава 8](#)

[Глава 9](#)

[Глава 10](#)

[Глава 11](#)

[Глава 12](#)

[Глава 13](#)

[Глава 14](#)

[Глава 15](#)

[Глава 16](#)

[Глава 17](#)

[Глава 18](#)

[Глава 19](#)

[Глава 20](#)

[Глава 21](#)

[Глава 22](#)

[Глава 23](#)

[Глава 24](#)

[Глава 25](#)

[Глава 26](#)

[Глава 27](#)

[Глава 28](#)

[Глава 29](#)

[Глава 30](#)

[Глава 31](#)

[Глава 32](#)



[Глава 33](#)

[Глава 34](#)

[Глава 35](#)

[Глава 36](#)

[Глава 37](#)

[Глава 38](#)

[Глава 39](#)

[Глава 40](#)

[Глава 41](#)

[Глава 42](#)

[Глава 43](#)

[Глава 44](#)

[Глава 45](#)

[Глава 46](#)

[Глава 47](#)

[Глава 48](#)

[Глава 49](#)

[Глава 50](#)

[Глава 51](#)

[Примечания](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

[9](#)

[10](#)

[11](#)

[12](#)

[13](#)

[14](#)

[15](#)

[16](#)

[17](#)

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

